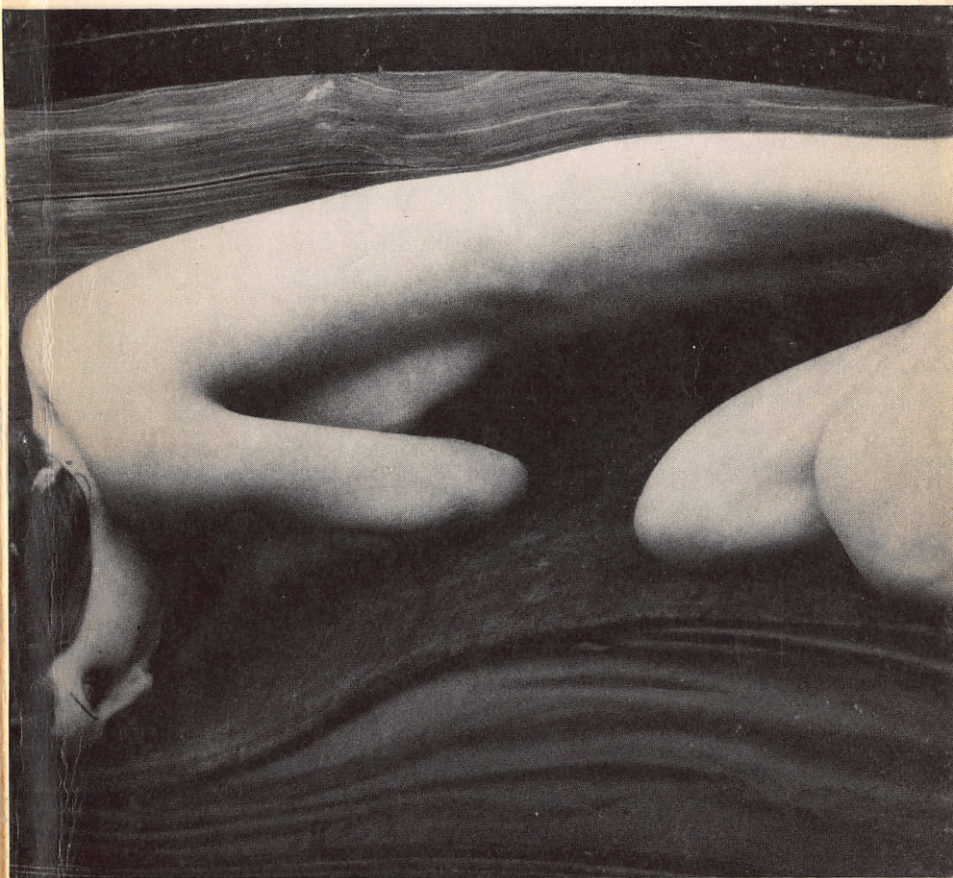
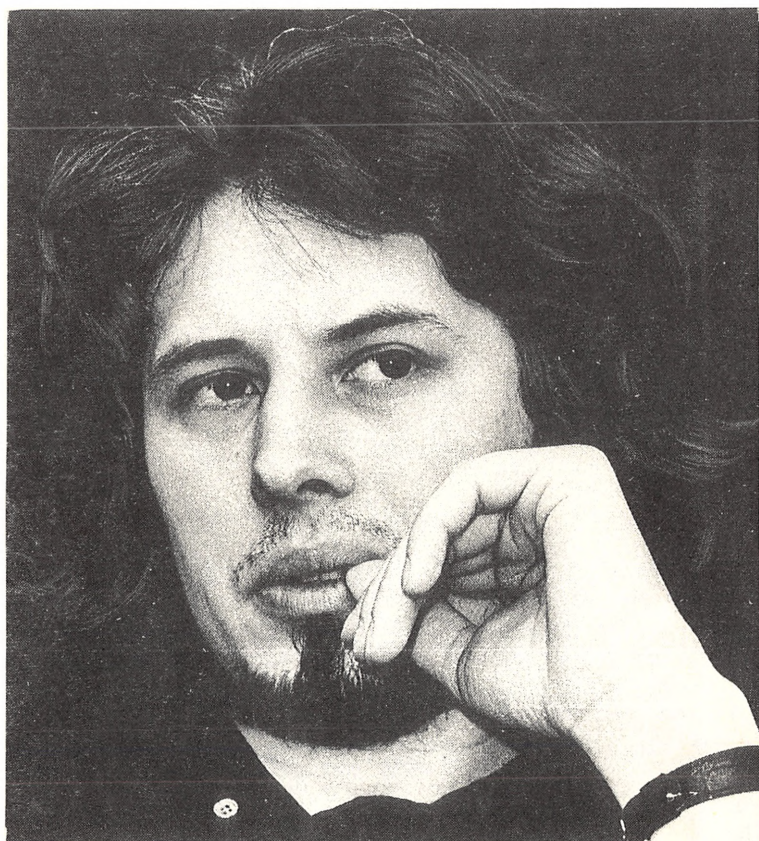


ВЛАДИМИР СОРОКИН





ВЛАДИМИР СОРОКИН

Москва
РУССЛИТ
1992

ПАМЯТНИК

А тогда Фикс ему вывеску поправил слегка, мы его на стол положили, полотенцами его китайскими связали, а Мишка пошел за утюгом, а Фикс ему говорит — где башли Милкины? А он, падла, весь окровавленный, а молчит, а Фикс ему тогда по дышалке ебнул и еще раз. А он весь захрипел, как лось, а Мишка утюг принес и включил и я ему рубаху задрал к подбородку. А Фикс говорит — где, гад, Милкины башли? А он мычит и все. Я тогда утюг ему на живот положил, он нагрелся, а он орать стал. А Фикс — говори, гад, где Милкины и Серегины деньги? А он так орать стал, что Мишка рот ему полотенцем забил, а он прямо бьется на столе, как гад, а я утюг держу, а Фикс стал его по еблу бить, а он обосрался и говном завоняло, а я утюг снял, а Мишка полотенце вынул, а он говорит — в спальне под паркетом. Мишка с ним остался, а мы с Фиксом в спальню пошли, кровать сдвинули, я фомку загнал, паркет отковыряли и там тайник нашли плоский, а в нем пачками новенькими все эти тридцать шесть кусков. А Мишка кричит — что, нашли? А мы говорим — нашли, нашли. И в мою сумку все сложили. Фикс говорит — ну вот и пиздец. Пошли к Мишке, а Фикс говорит — все путем, Миша, теперь на радостях можно и поссать — стул подвинул, встал и этой падле в рожу окровавленную нассал, а Мишка говорит — я если бы поссать хотел бы — поссал бы на него. А я тоже срать не хотел. А Фикс тогда тот гвоздь золотой достал, пошел у него в кладовке молоток нашел и говорит — вот, гад, помнишь те два перстня, что вы с Говноедом у Сереге с пальцев срезали? А тот молчит. Так вот, говорит, этот гвоздь я из их сделать попросил. И в лоб ему вколотил. А тот еще жив остался и все хрипел, как потс. И говном воняло от него. А Фикс говорит — пошли развлечемся. И молотком стал по вазам его хуярить. А мы с Мишкой в спальню пошли, шкаф стали ломать, но он сначала не поддавался, он был невысокий, красного дерева шкаф с резным верхом, старым помутневшим зеркалом во всю дверь, которую мы при помощи новенькой, пахнувшей

маслом фомки сломали, открыли. Запах нафталина оглушил нас. Шкаф оказался до отказа набитым вещами — пальто, дубленками, шубами. Они висели настолько плотно, что вытащить что-либо не представлялось возможным. Но что могло остановить нас — молодых, сильных, с горячей кровью, шумно пронсящейся по венам? Своей смуглой жилистой рукой лабазника Миша вцепился в плечо кожаного пальто, рванул и выдернул, словно гнилой зуб. Следуя его примеру, я вытянул каракулеву шубу с песцовым воротником, бросил на пол и она бессильно распростерлась у наших ног. Весело переговариваясь и помогая друг другу, мы вытряхнули содержимое шкафа на пол и вскоре дышащая нафталином куча выросла посредине комнаты, изумительным образом изменив ее акустику: голоса наши стали звучать мягче, приглушеннее, междометия словно увязали в мешанине меха и кожи, вульгаризмы и нецензурная брань обрели странную вялость.

Так что же, собственно, необходимо человеку? Он входит в свой дом, чувствуя страх, одиночество и еще что-то непередаваемое, мучительно родное и в то же время — чужеродное, отталкивающее холодным недружелюбием, от чего сердце сжимается и слезы выступают на глазах. Но он движется дальше, он понимает в своей неизвестности, что распахнутая ширь недоверчивого предмета всегда оставит равнодушным его память, слух, речь. Человек никогда не простит предавшему его самолюбию тех взлетов и падений подслеповатой мучительности, способной проложить роковую черту меж двумя казалось бы родственными феноменами — дыханием и безволием. Ужасен будет этот диалог, эта немая дуэль боли, равнодушия и просветленности. Но все случившееся в прошлом так или иначе находит своих заимодавцев, готовых распространить, увековечить вызов торжественному, памятному, втростепенному. И это происходит. Происходит с той бескомпромиссностью, на которую способен только настоящий рыцарь, разрушенная совесть которого не просит отчуждения и безвыходности. Но она не просит и отчаянья. И только услужливая в своей беспечности радость забвения будет понятна, принята, развенчана. Зачем ошибаться и недоумевать, молчать и надеяться? Как избавить простое отношение к прошлому от иллюзорной игры тронутого распадом сердца? Увы, рецепт прост: нужно построить памятник. Он не будет свидетельствовать против нашей неполноцен-

ной зависимости от обезображенного естества, но, напротив, даст в полной мере почувствовать глубину и отступничество романтического восприятия серьезности. В этом простом решении нуждается и наша вера и наши кропотливые притязания на благодать. Не он нуждается в нас, а мы в нем — точном, растапливающим лед клятвопреступной беспечности, сводящим на нет прошлые заблуждения.

Но кто построит памятник? Я построю его. А как ты его построишь? Очень просто — сделаю слепок со своей фигуры, стоящей в несколько наклоненном виде, обнаженной, конечно. Вот. Потом изготовлю форму и отолью себя из чистого золота. Расчищу себе место на площади, где-нибудь в центре Москвы, взрывая здания и увозя обломки. Наконец, замощу площадь мраморным паркетом, а в центре на постаменте из белого нефрита воздвигну свое золотое тело, предварительно подведя газ под всю конструкцию. В один погожий летний день, при стечении народа, под звуки солнечного Моцарта спланирует вниз шелковое покрывало, обнажив золотого человека, слегка оттопырившего свой сияющий на солнце зад, из центра которого выбьется подоженная достойным представителем общест-венности торжественная газовая струя. ВЕЧНО ГОРЯЩЕМУ БЗДЕХУ — будет выбито на постаменте. Вот. И это будет самый важный монумент. И к нему не зарастет народная тропа. Не зарастет? Ты уверен? Уверен. Хотя, может, нужен другой памятник. Например, два огромных червя, вырубленных из каррарского мрамора. Или, может быть, что-то другое. Фонтан невысыхающего гноя. Это тоже будет способствовать многому. Или просто — сало. То есть, не просто сало, а САЛО. А еще лучше вместе — ГНОЙ и САЛО. По-моему, это оптимальный вариант. С другой стороны, возможен и более простой вариант. Например, ульи с пчелами. 28 ульев. А в центре — стела. Можно выбить надпись, например, такую: ИСПРАВЛЕНИЕ. Или другую: ВОЗМОЖНОСТЬ. Или просто — СЛАВА СОВЕТСКИМ ГОСПОДАМ. И можно еще точнее, еще адекватнее: РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ. Или, возможно так, например: АМЕРИКА. А возможно: ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ. Но можно и проще, можно СПРЕССОВАННОЕ НАСЛЕДСТВО. Это, по-моему, неплохо. Неплохо и ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТОВАРИЩ ЦИММЕРМАН. А в связи с этим можно предложить и более конкретное — НОГ-

ТИ. Или проще — **НОГОТЬ**. Хотя, по правде, мне больше нравится **ОТЖАТИЕ ОСТАНКОВ**. Это, безусловно, наиболее точно. Хотя по-человечески, по-партийному ответственной — **МАСТУРБАТИВНЫЕ ДИАГРАММЫ**. А Виктор Николаевич Рогов из Киева предлагает **ЦЕЛОВАНИЕ КРЕСТА**. Ряд товарищей требует назвать памятник — **ОТПЕЧАТКИ**. Лидия Корнеевна Иванова просит вместо названия поставить цифру — **872**. Сергей хочет назвать его **НАСТОЛЬНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ**. Каганович письменно настаивает на таком названии: **ВЫСВЕРЛЕННЫЕ И ОЧИЩЕННЫЕ ОТ ПРОГОРКЛОГО ЖИРА КОСТИ ВРАГОВ РЕФОРМАЦИИ БЛАГОПОЛУЧНО И СВОЕВРЕМЕННО ПОСТУПАЮТ В ДЕТСКИЕ СТОЛОВЫЕ**. Его соратник по борьбе товарищ Васнецов просит назвать памятник **ЛОСЬ**. Или **ЛОСИ НА ВОДОПОЕ**. Или **КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ**. Или просто **ИВАН ИВАНОВ**. Или еще проще **ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЕВРЕЕВ**. Или **СОЛНЕЧНОЕ УБИЙСТВО**. Или **ИСКУССТВЕННАЯ ПОЧКА**. Или **РОДИТЕЛИ**. Или **ВЫЛИЗЫВАНИЕ ПРОМЕЖНОСТЕЙ**. Или **НЕОБХОДИМОЕ ОБНЮХИВАНИЕ ОПРЕЛОСТЕЙ**. Или **ПРОТЕЙ С БЕРЕГОВ РЕЙНА**. Или совсем простым-простое — **РИМ**. Или **ДРОЧИ И КОРЧИ**. То же, в некотором роде откровение, ну, например, **ЛОПАЮЩАЯСЯ И ИСТЕКАЮЩАЯ ТУХЛЯТИНОЙ ТАМАРА**. Мне кажется, что это вполне достойно мраморного исполнения. Или **ОПСТ, ОПСТ, ХЛЮПАЮЩЕЕ КРОВЬЮ ПОКОЛЕНИЕ**. Или тоже адекватное **ЛАРИСА РЕЗУН**. Или **БЕРМАН**. Или **ШЕЛЬМОВАНИЕ ЛЕДЯНОГО САЛА**. Или **Я МАМОЧКУ ТРОГАЛ ТАЙНО**. А можно и приблизить к народным проблемам: **Я МАМОЧКУ ТРОГАЛ ТАЙНО ВО ИМЯ ПОБЕДЫ КОММУНИЗМА НЫНЕ ПРИСНО И ВО ВЕКИ ВЕКОВ!** Или **АЛЛИЛУЙЯ ШАКТИ!** Или совсем плебейское **ПЕЛ ПЕСНИ ГРИША, ЧТОБЫ СЛАДКО ЕБ МИША**. А можно еще в этом же контексте **ПОСОЛЬСТВО ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ЧЕРВИЕ**. Или если обратиться к крестьянским первоисточникам, можно поставить проблему несколько иначе: **ПОСТАВАНГАРДИСТСКИЙ ПАФОС ЗАСТАВЛЯЕТ КЛАНЯТЬСЯ И ПРИСЕДАТЬ, ПРИСЕДАТЬ И КЛАНЯТЬСЯ**. Или **НИКОЛАЙ ПРОПИСАН НА УЛИЦЕ РЫЛЕЕВА**. Или **НЕПРАВИЛЬНЫЕ БЕЛИ МОГУТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СМЕЩЕНИЕ АРХАНГЕЛА ГАВРИИЛА С ПОСТА НАТИРАТЕЛЯ СУНИТ-**

СКИХ ПРОГАЛИН. Или, как друг советует: БОДАЛСЯ РЯ-
ЗАНСКИЙ ТЕЛЕНОК С МОСКОВСКИМ ДУБОМ. Или такое
же с первичным ментальным признаком: ПРОВЕДИ РУКОЮ
СВЕТЛОЙ ПО ЗНАКОМОЙ СКЛАДОЧКЕ. Или, как требует
мой духовный отец: СТУПАЙ ДЫШАТЬ ЖАБОЙ, ВОЛОДЯ!
А также, он же просит вместо РИМ поставить КЛЕТЧАТОЕ
БЕЗУМИЕ. Или, как требует большевистское диссидентство:
ПОСТАВИМ СТОЛЫ, А СТУЛЬЯ ЛИКВИДИРУЕМ КАК
ШЕРСТЯНОЙ КЛАСС. А суеверные женщины требуют вос-
точного: СИМВОЛИЗМ, РАССМАТРИВАЕМЫЙ С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ КАУЗАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ. Или совсем дикое,
но с другой стороны адекватное психо-социальной ситуации:
БЕЗНАВСТВЕННОЕ УБЕЖДЕНИЕ. Но, если постулиро-
вать подобным образом, можно дойти и до ФАШИЗМ НА-
СТОЛЬКО ДАЛЕК ОТ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ЧЛЕНЕНИЯ
САБИНЫ, НАСКОЛЬКО ДАЛЕКИ АРАБСКИЕ ПРОПИСИ
ОТ МАТРИМОНИАЛЬНЫХ ПРИТЯЗАНИЙ СТАРОГО
ДРУГА. А также МАСТЕР БОРОДИНСКОЙ БИТВЫ, а также:
ЗАЛОМ, а также: ЕСЛИ РАНИЛИ ДРУГА — ПЕРЕВЯЖЕТ
ПОДРУГА. А с третьей стороны ДРУБАДУРО СОПЛИВУРО.
Но также и ВЛИПАРО и УРПАРО. А в дневном решении ко-
миссии было и ПОВЕРХНОСТНАЯ РЕЛИГИОЗНОСТЬ. И
можно упрощенную модель: ПОТРОГАЛИ БЫ ДЕВУШКИ,
ДА РЕФОРМАЦИЯ НЕ ПОЗВОЛИЛА. Но мама предложила
СТРАСТИ ПО ДЕКАНОЗОВУ. В то время как комсомольское
собрание постановило ЛАМПЫ, ЛАМПЫ, МАТЬ ВАШУ РАС-
ПЛОЩИТЬ БЛЮМИНГОМ! Или уж совсем проникновенное,
с эдаким русско-немецким сентиментализмом: БРОСИВ
ОСУЖДЕННЫХ НА СМЕРТЬ МУЖЧИНУ И ЖЕНЩИНУ,
ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ПОПОЛЗ В ЖЕНЕВУ. А шурин Сережи
требует УТРО НАШЕЙ СМОРОДИНЫ. В то время как пухлая
подружка просит поставить ПРОЖОРЛИВОСТЬ МУЖСКО-
ГО ЗВЕРЯ ПРОТИВОСТОИТ ЖЕНСКОЙ АКТИВАЦИИ. А
любера требуют ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ ШЕЛУШЕНИЕ ЖИ-
ДОВСТВА. Или ПАР МЕДВЕДЕЙ. Или МОЗГОВОЙ ПОРО-
ШОК. Или КОТЛЕТНЫЕ МАССЫ ЗАКРЫТОГО ТИПА. Или
КАПИТАЛИЗМ БЕССМЕРТЕН. Или РОЗОВОЕ. Или КО-
РАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ. Или ЛЮБОВЬ К ГНИЮ-
ЩИМ ПОЛОВЫМ ОРГАНАМ. Или АНДРЕЙ. Или
СЕРЕБРЯНЫЙ БОР. Или ИГРАЛЬНЫЕ КАРТОБРОСАТЕ-

ЛИ. Или ПИСК ВРАНОВ. Или ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПРОБО-
ДЕНИЕ. Или ПЕСОЧНИЦА. Или ДЕВУШКА ИЗ БАВАРИИ.
Или ШАРИКОПОДШИПНИК. Или РУБИ МЕНЯ, РОДИНА!
Или ДЕСЯТЬ ПОЯВЛЕНИЙ. Или ГЕРБАРИЙ. Или НОВОЕ
— ХОРОШО ЗАБЫТОЕ. Или РАССТРЕЛЯТЬ БЕЗ СУДА И
СЛЕДСТВИЯ. Или БЕДНЫЕ ДЕТИ В ЛЕСУ. Или МАНХЭТ-
ТЕН. Или НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ТЕРМОЯДЕРНАЯ РЕАК-
ЦИЯ. Или ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ТОНАЛЬНОСТИ. Или
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. Или
БЕЙ, БАРАБАН! Или ДЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. Или
ПАЛЬПИРОВАНИЕ ПРОСТАТЫ. Или ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ
— НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ. Или ИГРАЛЬНЫЙ АВТОМАТ. Или
не надо так вот делать зачем же вы делаете не надо так не надо
так делать я же хочу не так а проще а вы мне делаете больно не
надо делать я же все сказал не надо я знаю лучше не надо мне
показывать лучше покажите врагу а я вам расскажу про маму
я подглядывал за мамой и за папой они там делали нехорошее
я подсматривал и молился а они делали нехорошее я подсмат-
ривал и молился а они делали нехорошее а я боялся ребят с
гвоздями и они делали мне больно и я боялся гвоздей они
гвоздями намекали мне что я буду слепым и они намекали
каждый раз они вынимали гвозди и показывали и намекали
мне гвоздями а потом намекали и портфелями и технически-
ми приборами и машинами они елью намекали что я буду
слепым и намекали сладостями они подкладывали мне сла-
дости и намекали что я буду слепым а у меня прокисли глаза
от намеков и стала выделяться кислая жидкость и они наме-
кали а глаза прокисали и высыхали и я боялся а они намекали
каждый день и по радио и демонстрациями а я плакал и
родители намекали а глаза прокисали и я плакал а они наме-
кали чем только можно они намекали а я плакал а глаза
прокисали и высыхали а они намекали и делали плохое в
темноте они все делают плохое в темноте он все намекают
мне и делают плохое в темноте они все делают плохое в
темноте они все намекают мне и делают плохое в темноте они
шевелились в темноте а я плакал и глаза высохли и они
шевелились и я боялся.

Они — черви.

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

— Понимаете, ребята, мы романы с продолжением не печатаем, — Авотин сунул окурок в банку с водой, помахал рукой, разгоняя повисший возле лица дым. — У нас не ежемесячный журнал, а всего лишь институтская многотиражка.

Савушкин усмехнулся:

— Да это ясно, конечно. Но все-таки это же не роман какой-нибудь, а беллетризованный дневник геологической экспедиции. Это разные вещи.

— Но объем-то чудовищный, Витя! — Авотин встал и, сунув руки подмышки, заходил по узкой редакционной комнате. — Почти два печатных листа! У нас подвал — десять машинописных страниц. Растягивать ваш дневник на пять номеров, что ли?

— А почему бы и нет? — вмешался Кершенбаум, — Действительно, это ведь не Агата Кристи, а нужный актуальный материал. Работа геологов.

— И написано, по-моему, нормально, — пожал плечами Коломиец.

— Длинно, длинно написано, — пробормотал Авотин, прохаживаясь, — длинно и многословно.

— Почему длинно? Разве это длинно?

— Там ведь все по делу, четко!

— А о природе как хорошо! Саша постарался.

Авотин подошел к столу и крепко оперся на него ладонями:

— Ну, вот что. Если хотите, чтоб мы это напечатали — сокращайте вдвое. Тогда в двух номерах, так и быть, попробуем уместить. Иначе не выйдет ничего.

Сидящие напротив студенты удивленно переглянулись:

— Вдвое? Да ты что?

— Как — вдвое? А что останется?

— Что там сокращать-то, а?

Авотин сел на стол, зевнул, посмотрел на часы:

— Девятый... прозаседались опять...

Кершенбаум подошел к столу:

— Сереж, но это же невозможно. Как мы сократим? Там столько фактов, находок. А местный фольклор какой? А описание Урала? Что же — все это выкидывать?!

— Не выкидывать, а сокращать. Выкидывать я вас ничего не призываю. Сократите. Вы же литераторы. Вот и сократите так, чтоб остался и фольклор, и Урал, и все прочее...

— Но ты пойми, что у нас чрезвычайно плотный материал. Там пустот нет почти. Одни факты.

— Факты тоже надо уметь излагать коротко и ясно.

— Сереж, но ты сам себе противоречишь. Ты прошлый раз говорил, что ради хорошего актуального материала не пожалеешь и полосы. А теперь? Сразу сокращать? Это легче всего.

— Нет. Это труднее всего, дорогуша, Написать коротко и ясно — труднее всего. Да и в конце концов, что ты предлагаешь? Печатать в десяти номерах?

— А почему бы и нет? — встал Савушкин. — Такой материал не стыдно и растянуть.

— Конечно. И читать будут с удовольствием.

Авотин нетерпеливо вздохнул:

— Послушайте! Вы понимаете, что такое институтская многотиражка? Это две полосы! Две! Если б у меня было четыре, я б конечно без всяких пустил ваш материал в пяти номерах. Но сейчас это невозможно. Невозможно. И вообще, давайте закругляться, сколько можно сидеть...

— Как — закругляться? А материал?

— Сокращать. Другого не дано.

— Это невозможно, Сергей.

— Возможно. Когда сократите — еще лучше будет.

— Ну, это глупости...

— Ладно, орлы, по домам. Сокращайте, приносите и поговорим тогда.

Студенты молчали.

Авотин встал и принялся складывать в портфель лежащие на столе бумаги. Савушкин поднялся и твердо проговорил:

— Знаешь, Сереж: если дело так выходит, мы посоветуемся с комитетом комсомола.

— Правильно, — кивнул головой Кершенбаум, — покажем Лосеву. Пусть решает.

— Это ваше право, — сухо проговорил Авотин, — Мое мнение я высказал. Лосеву я скажу то же самое. В конце концов

вопрос о размере материалов утверждался на парткоме... А теперь — до свидания. Мне еще дома работать...

Студенты стали молча выходить.

— Гена, останься на минуту, — проговорил Авотин, застегивая портфель. — Тут из ДНД приходили насчет твоей статьи, я забыл совсем сказать тебе...

Коломиец подошел к дивану и снова сел.

Авотин застегнул портфель, потер подбородок, глядя в открытую дверь:

— Я вчера думал насчет этой катавасии со стройотрядом. Знаешь, у меня к тебе есть деловое предложение.

Улыбаясь, Коломиец кивнул.

— Закрой-ка дверь, — тихо проговорил Авотин.

Коломиец встал, подошел к двери и, прикрыв ее, повернул дважды круглую ручку замка.

Потом повернулся к Авотину и еще шире улыбнулся, обнажив ровные белые зубы.

Авотин медленно выбрался из-за стола, приблизился к нему и, протянув руку, провел дрожащими пальцами по его гладко выбритой щеке. Коломиец тихо засмеялся, положил ладони на широкие плечи Авотина. Мгновенье они смотрели в глаза друг другу, потом лица их медленно сблизились.

Они долго целовались, привалившись к двери. Авотин гладил курчавую голову Коломийца, потом стал расстегивать ему ширинку. Коломиец отстранил его руку:

- Не надо шас...

— Ну а чего, давай здесь! — зашептал ему в ухо Авотин.

— Да ты что.

— Никто не увидит. В окно же не видно ничего...

— Нет.

Авотин пожал плечами:

— Чего ты боишься?

Коломиец улыбнулся:

— Ничего.

— Ну а чего ж ты? Ну давай, Ген.

— Да не буду я, — капризно пробормотал Коломиец и, прислонившись к двери, посмотрел в потолок.

Авотин гладил его щеку:

— Ну, поехали ко мне тогда?

— К тебе? — вяло повторил Коломиец.

— Ко мне.

— Тащиться далеко.

— Так возьмем мотор, пятнадцать минут езды. Поехали.

Коломиец потянулся:

— Не хочу.

— Почему, Ген?

— Не хочу. Да и вообще, знаешь... — он подошел к окну. —

Я тебе ведь главного не сказал.

— Чего? — настороженно спросил Авотин.

Коломиец вздохнул и после долгой паузы произнес:

— Я вчера у мамочки опять нюхал.

Авотин побледнел.

Коломиец обернулся к нему и повторил, странно усмехаясь:

— Нюхал.

Авотин молчал. Коломиец присел на подоконник и тоже молчал.

— Гена... — произнес Авотин сдавленным голосом, — ты же обещал, ты же...

Коломиец смотрел в окно.

— Гена! Гена! — Авотин опустился на колени, подполз к Коломийцу и, ткнувшись лицом в его колени, заплакал.

— Ну, кончай, ну что ты... — вяло отстранил его Коломиец.

— Я... я... это... ты же обещал, — всхлипывал Авотин, — Ты... ты же обещал... гад! Гад!

— Ну, хватит, в самом деле...

— Гад! Гад! — рыдал Авотин, тряся головой. — Ты мучить меня хочешь, да? Мучить? Мне что... что мне... убить ее? Или пове...ситься? Гад!

— Ну что ты городишь... встань... встань сейчас же.

— Гад! Я убью ее! Сука рваная! Гадина! Убью!

— Замолчи! Встань, что ты как какой-то... встань...

— Сволочь какая! А ты! А ты сам-то! Ты же обещал! Ты же поклялся тогда... в Ялте! Ты же поклялся!

— Ну, хватит...

— Нет! Я что... что я кукла тебе? Да? Пешка? Как Перфильев? Ты... ты меня совсем за человека не считаешь? Я кто для тебя? Скажи, скажи! А ей? Ей-то? Сволочь какая! Какая тварь!

Коломиец обнял голову Авотина руками и закрыл ему ладонью рот. Некоторое время они молчали, только глухо всхли-

пывал Авотин. Наконец, Авотин встал с колен, достал платок, вытер лицо и сухо проговорил:

— Да... ну, в общем, это, конечно, твое дело. Ты ведь у нас эгоист. О себе только и думаешь. А я вот о тебе подумал.

Он подошел к письменному столу, выдвинул средний ящик и достал сверток, перевязанный розовой ленточкой:

— Вот. Подарок тебе.

Он подошел к Коломийцу и бросил сверток на подоконник:

— За все хорошее.

Коломиец взял сверток, положил себе на колени и развязал ленточку. Потом он развернул бумагу и бросил на пол. В руках его осталась продолговатая пластмассовая коробка.

Коломиец открыл ее.

В коробку была втиснута грубо отрубленная часть мужского лица. Края рассеченной ссохшейся кожи были покрыты запекшейся кровью, единственная небритая щека ввалилась между посиневшей лоснящейся скулой и вывороченной челюстью; из-под разрубленных губ торчали прокуренные зубы, два из которых были золотыми; белесый глаз, выдавленный из почерневшей глазницы, лежал в углу коробки.

В изумлении уставясь на содержимое коробки, Коломиец приподнялся с подоконника.

Авотин сдержанно улыбался.

Вдруг Коломиец швырнул коробку на пол и бросился на шею Авотину:

— Сережка!

Авотин ответно обнял его. Коломиец восторжено целовал лицо Авотина:

— Сережка... Сережка...

Успокоившись, он покачал головой:

— Сережа!

Лицо его сияло восхищением.

— А ты говоришь — желе! — усмехнулся Авотин.

— Сережка! — Коломиец снова поцеловал его.

— А ты мне другие подарки подносишь, говнюк, — улыбался довольный Авотин. — Ну, что, едем?

Коломиец радостно кивнул.

— Ко мне? — тряхнул его за плечи Авотин.

Коломиец кивнул.

— Петечку берем?

Коломиец кивнул.

— А по вате будем? Потом?

Коломиец кивнул, озорно подмигнул Авотину и прошептал:

— А все-таки нюхнуть у маменьки по тайному, ох, как сладко, Сереженька.

Авотин сжал кулак и поднес его к красивому лицу Коломийца. Коломиец поцеловал волосатый кулак и засмеялся.

СОРЕВНОВАНИЕ

Лохов выключил пилу, поставил ее на свежий пень:

— Они третью делянку валят. Там еще с ними этот... Васька со Знаменской...

— Михалычев? — спросил Будзюк, откинув сапогом толстую сосновую ветку.

— Он самый. А завел их ясно кто — Соломкин. Вчера в конторе мне ребята рассказывали. У них комсомольское собрание было, ну и Соломкин выступал. Мы, говорит, всегда за будзюковской шли, а теперь кровь из носу — будем первыми. Ну и началось. Я щас шел, они там, как стахановцы, — валят, не разгибаясь.

Будзюк вздохнул, потер о рукав испачканную в смоле ладонь:

— Да... Соломкин, он боевой парень, я знаю... этот заведет...

— Да и остальные тоже, знаешь, они ведь как на подбор там — после армии только. Силушку девать некуда...

Будзюк молча кивнул головой.

Над просекой парили два ястреба. Лохов снял фуражку, вытер вспотевший лоб:

— Я еще раньше сказать хотел, да, знаешь, как-то...

— Что?

— Ну, не знаю...

Будзюк рассмеялся:

— Чего, испугался, что ли?

— Да нет, Сень. Просто при ребятах не хотелось. Пусть сами в конторе узнают.

Будзюк стряхнул с брюк опилки:

— А не все ли равно — когда. Да и чего такого? Ну вызвали на соревнование, ну и что?

Лохов почесал щеку:

— Сень, а может, пусть они с васнецовской соревнуются, а?

Будзюк насмешливо посмотрел на него:

— Чего — сдрейфил?

— Да нет... просто годы уже не те... напахался, да и ты тоже...

Будзюк покачал головой:

— Да-а-а... как ты быстро на попятную. А я вот, Иван Алексеич, дорогой мой сродственник, тоже попахал за свою жизнь не меньше твоего. Но уступать первое место и вымпел каким-то там Соломкиным не желаю! А ребята щас вернутся, я им скажу, что соревноваться будем. Будем!

Лохов, прищурясь, смотрел на попискивающих ястребов. Будзюк поставил ногу в кирзовом сапоге на поваленную сосну:

— Да неужели у тебя простой человеческой гордости нет, Вань? Они ж молокососы, салаги зеленые! Ты что, думаешь, у наших сил не хватит? Да мой Жорка троих ихних стоит! А Петро? А Саня? За пояс мы их заткнем, факт! Они и леса-то не видали сроду, а туда же — перегоним! Штаны лопнут.

Лохов улыбнулся:

— Ну это как сказать, Сень. Они вон какие — угарные ребята.

— Бог с ними. Пусть пашут. Мы сноровкой возьмем, а не нахрапом.

— Да я-то не против, пожалуйста... только чего нам этот вымпел... премию и так получаем, прогрессивку тоже...

Будзюк махнул рукой:

— Скушный ты человек, Ваня. А еще потомственный лесоруб...

Он поднял свою пилу, тронул клапан подсоса, дернул шнур. Пила затарахтела, выпуская бело-голубой дым. Будзюк подхватил ее и понес к соснам.

Лохов нехотя встал:

— Сень, а может ребят подождем?

Будзюк шел, не оборачиваясь.

Лохов принялся заводить свою пилу. Один из ястребов сложил крылья и упал вниз. Будзюк подошел к сосне, быстро вырезал желобок, зашел с другого бока и всадил ленту в бугристый ствол.

Пила заурчала, желтоватые опилки посыпались на сапоги. Полотно медленно входило в дерево. Будзюк слегка нажимал.

Лохов подошел с тарахтящей своей и принялся за соседнюю сосну.

Будзюковская сосна дрогнула, закрипела. Он отошел, перехватил пилу поудобнее. Сосна качнулась и стала валиться. Длинный ствол ее изогнулся и с треском обрушился на землю.

— На середку вали! — крикнул Будзюк согнувшемуся Лохову, и Лохов кивнул.

Будзюк шагнул к другой сосне, примериваясь, оглянулся, зашел с нужного бока и стал вырезать желобок.

Лохов отошел от своей. Сосна повалилась на только что упавшую.

— Щас шалашом свалим, а левые не трогай! Там в овраг валить надо! — прокричал ему Будзюк.

Пила в руках у Лохова зачихала и остановилась.

— Чего там? — прокричал Будзюк, входя в ствол с нового бока.

— Да "Дружба" старая... Андрея... выкидывать ее надо!

Будзюк отвернулся, сильнее налег на ручки.

Лохов покачал подсос, намотал шнур, дернул. Пила затахтела и смолкла.

— Аааа... чтоб тебя...

Он стал снова наматывать шнур.

Будзюк повалил сосну, выбрал другую.

Лохов завел пилу, сплюнул и, переступив через ствол, посмотрел на стоящие неподалеку сосны:

— Хоть бы одна кривая.. как на подбор...

Будзюк вырезал кустарник возле сосны.

— Давай помогу, Сень! — крикнул Лохов и зашагал к нему.

— Ты лучше иди вон те вали... или с этих сучья режь... во, позаросло... не продерешься!

— Лозовина, знамо дело!.. — крикнул Лохов, становясь рядом. Он сильнее прижал к ручке рычажок акселератора, быстро перекинул пилу влево и всадил полотно в шею склонившегося Будзюка. Темная кровь полетела из-под зубчатой ленты, голова вместе с потертой кепкой отделилась от шеи, упала в кусты. Ноги Будзюка подогнулись, пила врезалась в землю. Он повалился на пилу, суча ногами.

Лохов оглянулся, вытащил из-под безглавого тела пилу, подхватил свою и побежал, почти волоча их по земле, увертываясь от продолговатых полотен. Руки его прижимали рычажки акселераторов к рукояткам, пилы ревели, голубоватые шлейфы выхлопа тянулись за ними.

— Теперя и посоревнуемся... посоревнуемся... — бормотал Лохов, огибая пни.

Он пробежал через просеку, пересек овраг и оказался на обрыве. Внизу неторопливо текла Соша, трое ребятишек сидели на мостках и удили рыбку.

Заметив Лохова с ревушими пилами в руках, они приподнялись:

— Во, дядь Ваня двумя прям...

— А шумят-то...

— Дядь Вань, а ты батяньку моего не видал?

Лохов свистнул, одно из полотен коснулось его ноги, он вздрогнул. Ребята смотрели на него.

— Вот и посоревнуемся теперя... — пробормотал Лохов, разбежался и вместе с воющими пилами полетел в воду.

Один из мальчиков бросил удочку, подпрыгнул и, совершив в воздухе сложное движение, упал плашмя на землю. Двое других подбежали к нему, подняли на вытянутых руках, свистнули. Мальчика вырвало на голову другого мальчика. По телу другого мальчика прошла судорога, он ударил ногой в живот третьего мальчика. Третий мальчик лягнул зубами, закатил глаза и проговорил:

— И ето когда на рынок поедет купит толстого сала а дома из ево вырежет пирамидку и у ей нутро вырежет и поедет у гошпиталь и купит у хирурга восемь вырезанных гнойных аппендиксов и из них гной у пирамидку выпустит, а пирамидку сальной крышкой закроет да и зашьет а опосля пирамидку проварит у козьем молоке до пятого счету и на мороз вынесет а сам митроху найдет и покажет яму тайный уд а тот творогу коричневого пушай отвалит у малую махотку да и к куме у погреб поставит а сам к варваре у горницу войдет откроет параклит позовет брательников и пушай они по венцам посчитают и третье от параклита берно повытягнут а он с варварою у баню пойдет а тама ей ложесна развалит а она опосля побегит к золовке и ейную хлебную тряпицу к ложеснам приложит и сукровицу сотрет а василий с батянею домовину вынесут из

ейной горницы на двор а тама усе соберутся а матрена у домовину и ляжет а митроха с василием натрут домовину салом поклонятся да и отступят с миром когда оборачивать начнут ну и пусть пусть пустите нас на золотиносные таежные просторы трепещущих и содрогающихся душ наших позвольте позвольте позвольте расправить светоносные мраморные крылья наши потушить потушить потушить черное пламя невоплотившихся светильников разбросать разбросать разбросать осколки погранных кумирен провести провести провести белокурых отроков по фиолетовому лабиринту смерти говорить говорить говорить со среброликими старцами о распадающейся вечности понимать понимать понимать законы сил царств и престолов окропить окропить окропить проступившие тени минувшего обнимать обнимать обнимать стволы заповедных лип и дубов посягать посягать посягать на тайные лакуны в явных телах отнести отнести отнести платиновые скрижали в чертоги грозных убранств отрицать отрицать отрицать прошлое участие в играх смятения и отступничества приподнять приподнять приподнять бархатные покровы я тоже не полный дурак чтобы довериться костромским когда мне подсунули списанные я сразу сереге звякнул он адашкину а тот опять мне и я вложил а потом по поводу фондов с места в карьер раз ему он говорит в третьем квартале а я говорю если в третьем тогда с бетоном от винта а он стал клянчить и говорит райком его прижал а он партбилетом пока бросаться не собирается и мы вышли во двор с пирамидкой на бледной простыне положили ее на грустную колоду василий петрович взмахнул печальным топором и рассек ее пополам. Затем выпрямился, смахнул трясущимися пальцами слезу, помолчал и произнес тихим, слегка хриплым голосом:

— Гной и сало.

ДОРОЖНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

(Из сборника "Первый субботник")

Нестерпимо, отвратительно розовая дверца такси с желтыми кубиками, хлопок, заставивший брезгливо сморщиться, долгое рытье по неприлично глубоким прохладным карманам

долгополого английского пальто: Алексис никогда не расплачивался сидя.

— Спасибо, братец.

— Благодарствуйте.

Сиреневая пятирублевая бумажка с хрустом раздавленной ребенком жужелицы исчезла в анемичных пальцах водилы.

Отвернувшись, Алексис сделал несколько шагов, разглядывая бесстыжие лапы поздне-октябрьского ветра.

Сзади заурчал мотор, скрипнули шины.

"Стало быть, и впрямь нет ничего отвратительней нашего российского межсезонья", — морщась и кутаясь в серый велюровый шарф, подумал Алексис.

Вокруг было сумрачно, холодно и пустынно: слева остались серые изгибы кольцевой развязки с забрызганными грязью рекламными щитами, справа абрикосовое варенье заката остывало меж двух сорокоэтажных билдингов, впереди над полукруглой станционной крышей горела белая неоновая антиква БИРЮЛЕВО-2, а чуть пониже в путанице балок, консолей, швеллеров — желтое, тощее — СТАНЦИЯ.

Алексис двинулся вперед.

Он был здесь впервые, и это несмотря на то, что почти десять лет прожил в просторном двухэтажном доме тетушки на Маковом проспекте, что совсем недалеко отсюда.

Больше всего на свете он не любил московские окраины — эту дурацкую русскую Америку, в которой небоскреб индустриальной лингой торчал из семейства аккуратненьких, тонущих в сирени-черемухе особнячков.

"Великие пятидесятые", — он безразлично усмехнулся, вспоминая клетчатые брюки и пробковый шлем отца, бодро стриженного газон красным противно тарахтящим уродом, похожим на тропического богомола.

"Все они тогда были помешаны на Штатах. Что же случилось, а?" Алексис стал подниматься по бетонным ступеням перрона..

"А получился пробковый шлем на самоваре..."

Перрон был пуст и грязен. На белых лавочках темнели побуревшие кленовые листья, станционное здание светилось мутным аквариумом. Он вошел.

Возле касс никого не было, лишь из двери бара доносились голоса.

— До Белых Столбов, любезный, — проговорил Алексис в просторное окошко, разглядывая старого усатого кассира в черной железнодорожной форме, с пенсне на мясистой переносице.

"Просто чеховский персонаж."

Тот серьезно кивнул, защелкал клавишами. Розовый билетик порхнул в черную тарелку:

— Один рубль двадцать копеек. Прошу вас.

Алексис взял билет, расплатился.

— Не желаете ли приобрести облигации шестого южнодородного займа? — спросил кассир, подаваясь в окошко и пяля вверх белесые стариковские глаза.

— Не желаю, любезный. Скажите-ка лучше, когда поезд.

— В восемнадцать ноль две, — не меняя позы, как автомат, проговорил старик, — еще тридцать шесть минут.

— Благодарю, — кивнул Алексис и двинулся в бар.

"Черт, торчать здесь еще полчаса".

Бар был достоин своего района. Он назывался "Улей", о чем жирно свидетельствовала ярко-розовая а ля Диснейленд надпись над сверкающей стойкой бара. Интерьер кишел резным, расписным и жженым деревом: топырили кумачовые груди ядреные петухи, щерились, высунув языки, двуглавые орлы, улыбались матрешки.

— Что угодно? — повернулся белоснежный толстомордый бармен с перьями черных усиков, поросячьими глазками и двойным подбородком, под которым трепетали крылья белой бархатной бабочки.

— Дабльсмирнов, — нехотя ответил Алексис.

Он редко изменял своему вкусу, но поезд требовал водочного полусна, а не коньячного оптимизма.

— Кофе? — бармен поставил перед ним рюмку, Алексис отрицательно качнул головой, громко впечатал в стойку рублевую монету с ненавистным носатым профилем президента и одним духом проглотил водку.

Почти сразу стало теплее и мягче на душе. Глаза заслезились. Он полез в карман за платком и тут же вспомнил про свежий "Литературный вестник", дремавший во внутреннем кармане пальто.

Вскоре Алексис сидел за шестиугольным столиком, расстегнув пальто, шурша тонкими, почти папиросными страницами.

"Вестник" начинался пространно-безответственной редакционной статьей о только что закончившемся Петербургском фестивале поэзии — жалком, рахитичном детище телекомпании "Нива", которая битую неделю транслировала паноптикум наглых стариков, экзальтированных старух и безнадежно глупую, крикливо одетую молодежь. Слушать тех и других было невозможно.

... "Подлинный праздник слова... значительное событие в современной русскоязычной культуре... шесть дней благодатного царствования неувядающей русской музыки..."

Усмехнувшись, Алексис перевернул страницу и вздрогнул: справа от крупного заголовка улыбался своей лисьей улыбкой сутенера Николай. Огромная, расплывшаяся на две полосы статья называлась "Эллины в косоворотках".

В искристом, колком, словно битый хрусталь, стиле Николая мелькали знакомые фамилии, топорщились восклицательные знаки, громоздились мелко набранные цитаты. С трудом сдерживая желание сразу погрузиться в текст, Алексис поднял руку:

— Еще дабльсмирнов!

Бармен послушно повернулся, забрался на стойку, встал, потрогал пластиковые соты потолка, вынул из ячейки садовый секатор и отстриг себе большой палец левой руки. Кровь потекла. Старушка расстегнула на себе пальто, сняла его, расстегнула платье, сняла, сняла комбинацию, лифчик, трусы не сняла. Она подошла подошла к стойке, нашла нашла обрубок, заложила за щеку щеку стала сосать а девушка девушка и парень парень просто просто стали стали спать спать спать спать спать спать спать. И мы. Потому что, ведь мы, друзья мои, изнежены так рано, когда еще сомненья впереди, а вместо сердца — огненная рана, и что-то шепчет — жди, не уходи, а кто-то думает про странные приметы, распахнутые двери бытия, все вспоминает пасмурное лето и шепот подзаросшего ручья, мы так боимся памяти и боли, разбитых судеб и порванных оков, улыбок, полусна и меланхолий, и гибельных неизданных стихов, мы вспоминаем странные причины, былую жизнь, бывшие времена, ведь мы — женоподобные мужчины, гардины запыленного окна, нас не поймут ни правнуки, ни внуки, но нас оценит дачный телефон, ведь мы канадальники, мы рыцари разлуки и мы заводим древний граммофон, на нас одеты сочные кольчуги, мы

ползаем в коричневой тиши, зубами рвем чугунные подпруги и тихо бздим. И бздехи хороши.

Ну, не то чтоб очень. Но все-таки хороши.

Хорош бздех синего после бритья шашлычноцинандалного артиллериста, романтичногорящий likeacandleonthewind опять же в сыросумрачных пыльномышинных подъездах-парадных. В парадном. На втором этаже, где змеиный модерн перил-решеток a la Gaudi скользит черной ловчей сетью над артнувоинными мелкобуржуазными ступенями, где сквозь лютеранские мутно-лунные окна лется-пробивается dominus deus, то есть прозрачный секляризованно-автокефальный светневечерний, блестящий на выгибеперилусе брюхом мокрой кефали.

И тишина.

Только где-то за тридевять земель лает европейская, бездомная, но хорошо кормленая собака, да на бензоколонке два негра — Бил и Марсель пьют дешевый джин.

И в этой тишине, в этом сумраке, под этими сводами стоит Гогия. Он молод, статен, красив, богат. У него мандариновый сад. Он, конечно же, жгучий брюнет. И клево одет:

На нем вельветовый пиджак и черные бархатные штаны. Ослепительная, хрустящая, как жесть, рубашка. Атласная бабочка. Лакированные штиблеты. Сигарета данкил, зажигалка ронсон. Газовая. Оттопырив свой сухой зад, он щелкает ей.

На мгновенье вспыхивает маленький язычок, но куда ему — он тонет, гаснет, гибнет в желто-зеленом огненном шлейфе. Экий фейерверк! Экая шутиха, прости, Господи!

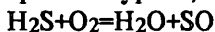
Горит, горит бздех, горит, словно первый китайский порох — удивляюще, словно американский напалм — поражающе, словно секретное советское топливо — потрясающе.

А как горит! Как храм Артемиды Эфесской, как Жанна д'Арк, как Москва двенадцатого года. С шумом, с треском, со славой.

Горят ветра, гуляющие по-над Гогиной перистальтикой — нежный зюйд-вест тонкого кишечника, суровый, не любящий шутить прямокишечный норд-ост. Пронесются в желто-зеленой нирване астралы добродушного шашлыка по-абхазски, милого сациви, очаровательного лобио.

Пахнет табаком, чесноком, мужиком (В.Набоков), говнюком, пиздюком, мудаком, (В.Сорокин).

А впрочем, нет, дети. Ничем уже не пахнет. Как я говорила на прошлом уроке, окись серы не имеет запаха.



Нина Николаевна положила мелок, повернулась к классу:

— Соловьев, к доске.

Сергей встал, вздохнул и пошел своей неуверенной, робкой походкой. Нина Николаевна вытирала испачканные мелом пальцы носовым платком:

— Напиши нам реакцию получения сероводорода.

Соловьев подошел к доске.

Класс затих, с интересом разглядывая новенького.

Сергей взял мелок и уставился на уравнение, только что написанное Ниной Николаевной.

Некоторое время в классе стояла полная тишина.

— Ты был на прошлом занятии? — спросила Нина Николаевна, убирая платок и разглядывая быстро краснеющие уши Соловьева.

— Был, — тихо ответил он, облизывая пересохшие губы.

— Помнишь, что я рассказывала?

Он кивнул.

— Тогда перечисли сначала, из каких реактивов можно получить сероводород.

Соловьев молчал, не отрывая взгляда от доски.

Подождав еще пару минут, она пошла меж рядов, привычно обняв себя за локти.

— Хорошо. Пойдем от противного. Скажи, Соловьев, из серной кислоты можно выделить сероводород?

— Можно, — быстро ответил он, не оборачиваясь.

— А если сернистой? — она остановилась возле его парты, взяла раскрытую тетрадь, перелистнула страницу.

— Можно... то-есть... нельзя, — пробормотал Соловьев.

Она взглянула на него поверх очков, вздохнула, положила тетрадь.

Зазвенел звонок.

Класс облегченно зашевелился.

Нина Николаевна быстро подошла к своему зеленому столу, села, склонилась над раскрытым журналом.

— Двойка, Соловьев. В тетради у тебя все записано. Черным по белому... А ничего не помнишь.

Он попрежнему стоял, тупо рассматривая доску.

В классе стало шумно: ученики говорили, смеялись, шелестели тетрадами.

— Садись, — проговорила Нина Николаевна, — или нет...
поможешь мне штатив донести.

Она постучала рукой по столу. — Тишина! Успокойтесь!
Запишите домашнее задание.

Все стали открывать дневники.

— Параграф двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый.
Урок окончен. До свидания.

Все нехотя полезли из-за парт.

— Возьми штатив и спиртовку, — сказала она Соловьеву,
забирая журнал и коробку с реактивами. — Пойдем, Соловьев.

Они вышли в коридор, уже полный отдыхающих учеников.
прошли мимо буфета и стали подниматься на второй этаж.
Соловьев нес штатив, стараясь никого им не задеть. В пробирке
подрагивал кусок серного колчедана.

— Что же ты ничего не повторил? — спросила Нина Николаевна. — Времени не нашел?

Соловьев на ходу пожал плечами.

— А может быть — желания? — улыбнувшись, она качнула
головой. — Соловьев, Соловьев. Только к нам пришел, и уже
двойка. Плохо...

Они взошли на второй этаж и тут же оказались возле двух
смежных дверей. На левой было написано ЛАБОРАНТСКАЯ,
на второй РЕАКТИВНАЯ.

Зажав журнал подмышкой, Нина Николаевна достала ключ
из кармана своего коричневого жакета, отперла правую дверь:

— Выучи к следующему уроку все о сероводороде. Как пол-
учается, какими свойствами обладает. Если расскажешь хоро-
шо, обстоятельно — исправишь двойку.

Она распахнула дверь, посторонилась, пропуская его:

— Проходи, поставь вон туда на стол.

Соловьев послушно прошел и поставил штатив вместе со
спиртовкой на край большого, во всю комнату стола, сплошь
заставленного штативами, колбами, ящичками с трубками и
пробирками. В большой металлической коробке аккуратными
рядами покоились спиртовки.

Вдоль стен теснились желтые шкафы, забитые банками,
колбами, бутылками с химическими реактивами. В углу, возле

самой двери, примостилась раковина с надколотым зеркалом. Из старого медного крана капала вода.

Пахло жжеными спиртовыми фитилями и химией.

Нина Николаевна открыла шкаф, поставила пробирку с реактивами на полку.

Соловьев разглядывал замысловатую стеклянную трубку с двумя краниками.

— Интересно? — спросила она, закрывая шкаф.

Соловьев кивнул.

— Это трубка Зелинского. Она используется в гидролизе. Положи ее вон в тот ящик.

Соловьев положил трубку, но Нина Николаевна рассеянно махнула рукой, сосредоточенно глядя себе под ноги:

— Или нет... лучше не так...

Лицо ее стало отрешенно-серьезным, губы что-то шептали.

Постояв, она повернулась к столу:

— Вот что. Так и сделаем. Помоги-ка мне, Соловьев.

Она стала быстро снимать ящики и приборы со стола и ставить на пол.

— Снимай, снимай быстрее... только не побей...

Соловьев принялся помогать.

Стол был длинным, широким, так что пока они разобрали его, прозвенел звонок на урок.

— У вас что сейчас? — спросила Нина Николаевна, снимая тяжелый ящик со спиртовками.

— Геометрия, — проговорил запыхавшийся Соловьев.

— Ну ничего. На десять минут опоздаешь, скажешь Виктору Егорычу, что я тебя задержала.

Она наклонилась, открыла в тумбе-основании стола маленькую дверцу, вытащила свернутый черный провод со штепселем на конце, размотала и вставила в розетку.

Затем, пошарив рукой под крышкой стола, щелкнула выключателем. Раздалось гудение, крышка дрогнула, разделилась в середине на две части, которые, словно дверцы, стали приотворяться. Когда они разошлись, оказалось, что вся длинная, как и стол, тумба-ящик доверху наполнена землей.

Земля была измельченная и хранила на своей поверхности следы тщательного рыхления.

— Вот... — проговорила Нина Николаевна, внимательно оглядывая ровное коричневое поле, — это все мой муж...

Соловьев тоже смотрел на землю.

Нина Николаевна быстро сбросила свои туфли, приподняла юбку и шагнула через борт.

Ее узкая нога по щиколотку ушла в землю. Подтянув другую ногу, она поставила ее рядом, затем присела, приспустив розовые трусики.

— Выдвинь вон тот ящик, достань climber... — тихо пробормотала она, энергично массируя себе щеки ладонями.

Соловьев выдвинул ящик ближайшего шкафа и достал climber.

— Положи мне на спину цифрой вниз.

Он положил climber ей на спину вниз голубой цифрой.

— Потяни за красную створку, — все так же тихо и быстро проговорила она и сильная струя ее мочи с глухим шорохом ударила в землю.

Соловьев оттянул красную створку.

Climber ожил, с мягким звуком двинулся вверх по спине мочащейся Нины Николаевны.

Она задрожала и всхлипнула.

Верхняя крона у climber раскрылась, в ней что-то сверкнуло. Усики стали изгибаться к центру, ослепительные подкрылья поползли в стороны.

На спине оставался черный дымящийся след.

— Пошел отсюда... — пробормотала Нина Николаевна, широко раскрытыми глазами глядя перед собой.

Соловьев медленно попятился к двери.

Climber выбросил вверх протуберанец слоистого розового дыма, его педипальцы молниеносно работали.

Запахло жженым волосом.

— Пошел отсюда, гад! — прохрипела Нина Николаевна, трясясь и плача.

Соловьев открыл дверь и вышел.

А дальше что?

А дальше несколько пословиц:

*Немец на говне блоху убьет,
Да рук на запачкает.*

*Гнилая блядь — что забор,
Кто не ебал — тот не вор.*

*Наша лопатка копает хорошо —
Мы достаем песок и продаем.*

...А когда налет кончился, Гузь выглянул из-за присыпанной землей тумбы. Покачав головой, он тихо присвистнул от удивления, толкнул лежащего вниз лицом Фархада.

Тот медленно, с опаской, поднял голову, отчего с каски ссыпалась земля и она снова заблестела на ярком июльском солнце.

Всего за какие-то полминуты площадь невероятно изменилась. словно гигантские грабли прошли по ней: асфальт был страшно разворочен, то тут, то там лежали трупы, два перевернутых автобуса горели так сильно, словно их облили напалмом. В одном из них кто-то бился и дико кричал. Троллейбус с распоротой крышей стоял поперек проспекта. Рядом с ним горели те самые проворные белые "жигули". Усатый балагур-водитель и его шестилетняя дочка, по всей вероятности, были мертвы. Полукруглый желтоватый дом напротив зиял двумя страшными пробоинами, его верх с фигурами рабочих был начисто снесен. На месте памятника Гагарину зияла дымящаяся, в добрые десять метров воронка, а сам монумент, полминуты назад сверкающий сталью в голубом московском небе, лежал ничком, перегородив выезд с Профсоюзной улицы. Ребристая колонна завалилась к деревцам, а выброшенный взрывом стальной шар откатился к мосту и замер, стукнувшись о чугунное перило.

— Еб твою мать, — выругался Гузь, — смотри как распахали.

— Ай-бай... — выдохнул свое обычное восклицание Фархад.

В объятых пламенем "жигулях" с мягким хлопком взорвался бензобак, разбросав вокруг куски обгорелого корпуса.

Гузь поправил сползшую на глаза каску, посмотрел вправо, где залегло его поредевшее отделение. Там среди комьев земли и кусков асфальта шевелились солдаты.

Привычным движением он потянулся к портативной рации, но руки уже в который раз нашарили пустое место.

— Третий! Пятый! Седьмой! Отходите к магазину! — Ожил сзади громкоговоритель Реброва и сразу же отовсюду — из-за вывороченных плит, груд кирпича, остовов сгоревших машин стали пятиться назад солдаты ребровского батальона.

Гузь привстал, придерживая автомат, махнул своим:

— Назад!

Поднялись пять человек — все те, которые остались после боя в Нескучном саду.

Засвистели пули, ожили засевающие возле "Дома обуви" минометчики. Вокруг стали рваться мины.

С чердака дружно ответили ПТУРСы лейтенанта Соколова, из подворотни ухнули самоходки.

Добежали до дома и Ребров тут же скомандовал залечь.

Гузь оказался рядом с ним — за перевернутым помойным контейнером. Мусор и отбросы валялись вокруг.

— Ребров! Двух человек, быстро! — раздалось из разбитой витрины "Тысячи мелочей".

Ребров повернул свое злое, мокрое от пота лицо к Гузю и Фархаду:

— Гузь, Наримбеков!

И через мгновение они, с серыми от пыли автоматами вбежали в магазин. В магазин. Они, это. Вбежали и там, это. Было много разного товару. И, это, там был КП полка. А потом был бой в метро "Ленинский проспект", и Фархада смертельно ранило. А Гузь остался жив. Один из своего отделения. И полк Гасова стал пробиваться к "Октябрьской". А там было шесть налетов. И потом была элегия: над сумраком парит октябрь уже не первый, мы рядом в тишине, о мой печальный друг, осенний лес облит луной, как свежей спермой, а сердце бережит анальный мягкий звук, как веет тишина дыханьем испражнений, как менструален сон склонившихся рябин, как сексуален вид увянувших растений, что обступили вокруг эрекцию осин, не надо, милый друг, искать вселенский клитор в возбуженной глуши набухших кровью губ, сиреневый аборт пустой, но гулкой ритор, а сумрачный минет, как сон изгоя, груб, я знаю все равно дохнет суровый климакс, эрозии ветра, фригидности снега, внematочных дворов, сырой тяжелый климат всех либидозных зорь рассеется тогда, но крайней плоти плен нас поглощает вместе, мы генитальны, да, сырой тампакс горит, мы тонем впопыхах в презервативном тесте, мошонки бытия, яичники обид, как хочется любить, мастурбативный вечер размазал по жнивью волнующую слизь, два эвкалипта ждут спермообильной встречи, их ветви в темноте совсем переплелись, влагалища равнин распахнуты в пространство и смегма бытия связует

судьбы вновь, и светится звезда слепого лесбиянства и правит тишиной анальная любовь. Да. И правит тишиной анальная любовь.

О детстве всегда приятно вспоминать. Мы жили в Быково. Дачные места. Сосны. Аэродром. Помню, когда я его увидел года в три, там страшно и трудно было разобрать что где — где небо, где блестящие на солнце дюралевые плоскости. И все ревело, так что земля тряслась. А отец держал меня за руку. Мы жили в двухэтажном доме с котельной внизу, с чердаком наверху и с крыш текло весной, висели метровые сосульки и жильцы, привязавшись веревками, скидывали снег. Двор был большой, но остальные пять домов были одноэтажными. В них коммунальные квартиры. И детей было много. И много интересного пространства: помойка в одном углу двора, крыши, сараи, бузина и она подпирала сарай, и в сараях, "сарай — могилы различного хлама" (И.Холин). Это верно, там был хлам и сундуки, банки и тряпье, и дверцы, и замки, висячие замки, а потом огороды. Огороды, разделенные по-справедливому, по-народному, и там росло все, что могло расти — морковка, лук, репка, редиска, помидоры, цветы, георгины, гладиолусы. А летом — гамак между сосен. Сосны высокие и скрипели, а земля была мягкой от хвои.

Так вот.

И было одно переживание в пяти-шестилетнем возрасте. Там, в другом углу двора, была яма. Вернее — ЯМА. Для стока дворовой канализационной системы. У всех стояли ватер-клозеты, все легко смывалось водой из ревущих бачков и пропадало под полом. И там под землей, под всем нашим счастливым детством шли трубы. И сходились к яме. К ЯМЕ. Там был люк. И вот по понедельникам приезжала машина, грязная, темно-зеленая пыльная машина с цистерной. И выходил из кабины мужик в ватнике, в грязных штанах и сапогах. Отстегивал сбоку машины толстую ребристую кишку, то есть это даже не шланг, а патрубков, или — резиново-брезентовая труба диаметром сантиметров двадцать. И открывал люк. Он не открывал, а отколупывал его ломом. И тот открывался, то есть отколупывался с грозным чугунным звуком. И было видно, что ЯМА до самого горла заполнена жижей, массой неопределенного цвета.

А я — пятилетний мальчик в коротких штанишках с помочами, в белой рубашечке, в белой панамке сидел на корточках

недалеко от ямы и смотрел во все глаза. И мужик знал меня, улыбался, как старому приятелю, надевал рукавицы и заправлял трубу в яму. Она погружалась с уханьем, хлюпаньем, ребристые складки исчезали одна за другой. И машина начинала глухо реветь. И жижа проседала вниз. Меня все время гоняли от ямы — говорили, что в яме кашки, что, мол, как мне не противно, лучше бы пошел поиграл в песочнице или порисовал, пугали историей про мальчика, который вот так вот как ты сидел, сидел возле ямы, а потом его искали, искали и нашли в яме. Тем не менее я не пропускал ни одного приезда ассенизатора. Ни одно зрелище не притягивало меня в то время сильнее: машина редела, шланг хлюпал, жижа ползла вниз, а запах был страшным и притягательным, он не был похож ни на какой другой. И это продолжалось из понедельника в понедельник. А потом я сделал себе дома такую же яму. Взял алюминиевый бидон, наполнил водой и набросал туда мусора, хлеба, огрызков, бумаги и всего, что можно. И выдерживал несколько дней, чтобы все закисло и был запах. И у меня была игрушечная машина-грузовик, тоже зеленый. Я положил ему в кузов пузырек из-под чего-то и надел на горлышко резиновую трубку и вот я сдвинул две табуретки, у одной из них была дырка в сиденье и я засунул туда бидон и сделал так, чтобы горловина лишь немного высовывалась из сиденья, а с другой табуретки, придвинутой, подъезжал машиной, открывал консервную крышку, которой я прикрывал бидон, и опускал шланг. И был кислый запах. А в кабине сидел солдатик. И тут я, сидя на корточках, начинал рычать, реветь и гудеть, как машина. И тряс машину слегка. И это продолжалось бесконечно долго. Машина подъезжала, отъезжала. В то время это было самым сильным увлечением.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Общеизвестно, что в препубертатном возрасте главное эротическое переживание ребенка связано с актом дефекации, отсюда и повышенный интерес детей к калу, как к причине их удовольствия. Дети с любопытством разглядывают свой кал, говорят о нем. И часто пробуют на язык. В данном случае, яма-хранилище нечистот возбуждала ребенка, как место аккумуляции множества органов удовольствия. С другой стороны, рассказы родных о мальчике, тонувшем в подобной яме, вызывали у ребенка подсознательное чувство страха, который, вследствие неяс-

ности границ подземного хранилища, принял тотальный характер. Находясь под действием двух реликтовых сил — эроса и танатоса, ребенок был поставлен перед сложной задачей: следовать первому и избавляться от второго. И он справился с ней, построив модель ямы и машины. Бесконечно подъезжая, "откачивая" и отъезжая, он заговаривал яму, используя принцип гомеопатической магии, с другой стороны, сидя на корточках рядом и кряхтя, моделировал акт дефекации, что удовлетворяло его эротические переживания.

А по поводу Гузя и Наримбекова я вот что скажу: вообще не понятно, как можно не любить стволы родных берез? Человек, родившийся и выросший в России, не любит своей природы? Не понимает ее красоты? Ее заливных лугов? Утреннего леса? Бескрайних полей? Ночных трелей соловья? Осеннего листопада? Первой пороши? Июльского сенокоса? Степных просторов? Русской песни? Русского характера? Ведь ты же русский? Ты родился в России? Ты ходил в среднюю школу? Ты писал сочинения? Ты служил в армии? Ты учился с техникуме? Ты работал на заводе? Ты ездил в Бобруйск? Ездил в Бобруйск? В Бобруйск ездил? Ездил, а? Ты в Бобруйск ездил, а? Ездил? Чего молчишь? В Бобруйск ездил? А? Чего косишь? А? Заело, да? Ездил в Бобруйск? Ты, хуй? В Бобруйск ездил? Ездил, падло? Ездил, гад? Ездил, падло? Ездил, бля? Ездил, бля? Ездил, бля? Чего заныл? Ездил, сука? Ездил, бля? Ездил, бля? Ездил, бля? Чего ноешь? Чего сопишь, падло? Чего, а? Заныл? Заныл, падло? Чего сопишь? Так, бля? Так, бля? Так вот? Вот? Вот? Вот? Вот, бля? Вот так? Вот так? Вот так? Вот так, бля? На, бля? На, бля? На, бля? Вот? Вот? Вот? Вот? На, бля? На, сука? На, бля? На, сука? На, бля? На, сука? Заныл, бля? Заело, бля?

После долгих размышлений и внутренних препирательств с самим собой я так и не решил красиво или отвратительно ее лицо.

Я исследовал его физико-аналитическим методом, я рассматривал его сквозь пласт ананасового мармелада, я гадал на его счет, я спрашивал ее о всякой всячине, памятью о нашем совместном путешествии. Я ловил ее. Она же выходила из игры с легкостью теннисного мяча, уклонялась, хамелеонила, требовала гарантий. Я давал их. Я покорно

погружался в голубую ванну моих представлений и застывал на боку, подобно умершему Будде.

Ее бесило мое спокойствие, она плакала, заламывая свои сухие креольские руки, умоляла прекратить эти "экзерсисы духа", цена которым по ее убеждению была столь страшной, что не имела названия.

— Нет слов... — тихо произносила она, обессилив от плача.
— Нет слов.

И слов действительно не было.

Мы жили молча в нашей просторной вилле, истертые ступени которой я так любил. Я прижимался к ним щекой, и вместе с каменным холодом в меня входила неторопливой поступью франкогерманская династия ее предков. Не знаю, почему, но французы всегда оставались на уровне неразличения, слипались в некий архетип носителя бархатного камзола. Зато германская ветвь беспрепятственно прорастала сквозь мое швейцарское сердце и распускалась в пространствах ума живым полнокровным деревом великой культуры.

Оно шелестело листьями и дразнило плодами.

Гете и Шуман, Шеллинг и Гегель, Бах и Кляйст радушно предлагали мне своих Вертеров и Манфредов, но моя требовательная длань ментального аскета уходила вглубь и срывала с едва ли не самой внушительной ветви желанный плод:

Автономия воли есть единственный принцип всех моральных законов и соответствующих им обязанностей; всякая же гетерономия произвольного выбора не создает никакой обязательности, а скорее, противостоит ее принципу и нравственности воли.

Единственный принцип нравственности состоит именно в независимости от всякой материи закона (а именно от желаемого объекта) и вместе с тем в определении произвольного выбора одной лишь всеобщей законодательной формой, к которой максима должна быть способна.

— А после этого?

— Ну, мы прошли в гостиную, а там все было убрано.

— Что?

— Ну, посуда, еда.

— И никого не было?

- Нет. Кроме сторожа.
- Так. И что дальше.
- Ну, он попросил его пройти в бильярдную.
- Так.
- И там снял с него рубашку и на бильярд положил.
- Как положил?
- Вниз лицом.
- Так.
- Ну и я помог. А потом мы ему банки поставили.
- Сколько?
- Я не помню... штук двадцать.
- Так. А дальше?
- Дальше... Ну, он пистолет достал и мы стали это...
- Стрелять по банкам?
- Да.
- Ну?
- Ну и попадали. А иногда мазали.
- А банки?
- Они разлетались.
- А сторож?
- А он это... плакал и молился.
- Так. Ну?
- Ну, он пистолет спрятал и мы пошли в кабинет.
- И что там?
- А там он из авоськи достал оранжевый спрей и это...
- Что?
- Ну, стал красить стол.
- А что лежало на столе?
- Документы, там, телефоны разные... очки, папки разные...
- И что?
- Ну я тоже взял голубой спрей и золотой. И мы начали поливать все спреями и это так прямо было хорошо. И пришел сторож с бильярда, и мы его совсем раздели, и я его всего сделал золотым, а ладони голубыми. И мы телевизор покрасили желтым. А я взял ключи и открыл сейф, и мы все содержимое покрасили красным, деньги там, документы. А потом телефон звонил, и мы его покрасили оранжевым и он звонить перестал, а мне было так хорошо, что прямо слезы текли, и мы окно открыли и в сад вышли и стали цветы красить и после клумбу а

потом подошли а там стояла чайка новая и волга черная охраны и они все черные были и мы их покрасили и охранника тоже а потом разделись и себя серебряным и только головки членов не покрасили и пошли к реке по спуску и пели эквэлент май фрэнд и там вода была и мы поплыли и пели и так это было и я плакал и было так сладко и мы плыли и это... я не могу...

— Чего? Чего ты? Чего ты выебываешься?

— Простите... я не выебываюсь, просто сердце плачет и в голове поет.

В тот момент, когда Наримбеков повернул, наконец, красную ручку, сержант Гузь высунул пулемет из-за колонны и принялся поливать эскалатор свинцом. Крики, вопли, женский визг заполнили пространство тоннеля, круглые плафоны разлетались вдребезги, пули с треском вспарывали полированные панели.

Наримбеков сдернул с плеча свой "калаш" и тоже нажал на спуск.

Через полминуты все было кончено.

Обе лестницы завалены трупами.

Наримбеков сменил рожок. Гузь отшвырнул в сторону ненужный дымящийся пулемет и подошел к стеклянной будке, возле которой распростерлась та самая блядь в черной униформе, повернул красную ручку. Эскалатор ожил. Ребристые ступени проволокли мертвецов вниз, к ногам двух победителей.

Месиво окровавленных трупов стало расти возле будки.

Гузь снял каску и с наслаждением вытер совершенно мокрый лоб рукавом, но потом-то, потом-то ну што ну это ш я не знаю што. Ну поехали к Костику шмостику на десятую ну взяли ящик Гурджани там шмуржани по дороге сняли Лелечку там шмолечку Анечку шманечку, ну приехали я стучу Костику а он кричит как потс из клозета там шмозета, ну что ты стучишь, как мент, я ш еще не посрал, ну это был такой отмороз мы просто умерли с Васенькой шмасенькой, ну я ш никогда такого голоса не слышал это просто я ш не знаю што так вопить из клозета там шмозета и я кричу ну што ты там веревку проглотил или на привозе пообедал а он ржет как мерин шмерин и идет а я говорю ну ша Костик шмостик хорош хохмить, море стынет, девочки скучают, надо брать ноги в руки и делать марш бросок, ну, и тогда мы культурненько погрузились и двинули а он мидий наловил с утречка целый рюкзак и вообще культурнень-

родимая! Захрустело, захлюпало — только кровь с маслом машинным во все стороны. А он туда и не смотрит; он к полке подбежал да с самого верху то самое ухо, в тряпочку завернутое, снимает, разворачивает, к губам подносит и говорит со слезами: прости, мол, прости и не вини ни в чем. А после — хватъ бутылъ со спермой и мне ею по черепу — бац! Раскололась она, спермии по мне так и растеклись. А он ухо за пазуху спрятал, окно табуретом вышиб и вниз ласточкой с восьмого этажа. Вдребезги. А я с сотрясением месяц в госпитале отлежал, да и уволился. Вот, милые мои, а вы говорите — Беатриче, Беатриче.

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

Сергей ступил на еле заметную узкую тропинку, ползущую через болото, но Кузьма Егорыч предупредительно остановил его за плечо:

— Нет, Сереж, тут нам не пройтись.

— Почему? — повернулся к нему Сергей.

Егеръ неторопливо ответил, отгоняя от лица слепня:

— Завчера ливень лил, нынче трясина вспухла. Там возле Панинской низины тебе по пояс будет, а мне по грудь. Так что давай обходом.

— Через лесосеки?

— На што! Версту с гаком лишку-то. Черным большаком ближей.

— Пошли, что ж. Тебе виднее, — проговорил Сергей, поворачивая.

— Эт точно, — слабо засмеялся егеръ, поправляя ползущий на глаза треух, — мне тут все насквозь видно. Пятьдесят годков топчусь здесь.

— Наверно, каждое дерево знаешь.

— Знаю, милый, знаю... — вздохнул егеръ и зашагал, вперед Сергея.

Разросшийся возле болота кустарник скоро кончился, сменившись молодым березняком.

Тут было суше, желтая перестоявшая трава доходила до пояса, мягко хрустела под ногами.

Егерь закурил на ходу, за его сутулой ватной спиной потянулся сладковатый голубой дымок.

Сергей полез в карман, вытащил пустую пачку "Явы", скомкал и швырнул в траву. Легкий ветерок шелестел березовой листвой, покачивал травяные метелки.

Сергей на ходу сорвал травинку, сунул в рот и оглянулся. Над оставшимся позади болотом стоял легкий туман, два коршуна, попискивая, кружили в желто-розоватой дымке.

После того, как кончился березняк, Кузьма Егорыч стал забирать правее. Пересекли небольшой лог, обогнули гряду выросших в землю валунов и вошли в ельник.

Сергей вытащил изо рта травинку и метнул в молоденькую елочку. Травинка скрылась меж молочно-зеленых лап.

Дорога расширилась и почернела.

Егерь повернулся к Сергею, поправил сползающий с плеча ружейный ремень:

— А ты тут не ходил никогда?

— Нет, Егорыч. Не был ни разу.

— Глухое место... — егерь зашагал с ним рядом, глядя под ноги.

— Елки хорошие. Стройные.

— Да. Елка здесь прямо удивительная.

— И частый ельник какой, — пробормотал Сергей, оглядываясь. — Наверно, глухарей много, рябчиков...

— Глухари были, точно. Болото, ягода опять же рядом, вот и жили. А после повывелись что-то. И не уразумею, отчего. А рябцов полно. На манок как табун — летят и все. Только бей.

— А отчего глухари вывелись? — спросил Сергей.

— Вот уж не знаю, — сощурился егерь, теребя бороду. — Не знаю. Вроде бить-то некому, да и места глухие. Знаю только, что глухарь, он ведь капризен очень. Осторожен. Рябец да тетерев — тем хоть трава не расти. Где угодно жить будут. А этот-другой...

Сергей посмотрел вверх.

Высокие ели смыкались над дорогой, солнце слабо просвечивало сквозь них. Земля под ногами была мягкой и сухой.

— Егорыч, а что, кроме Коробки других деревень тут не было?

Егерь покачал головой:

— Как не было! Три деревни были. Две маленькие, как хутора, и одна домов на сорок.

— А сейчас что ж?

— Да поразъехались все, старики умерли. А молодежь в город тянет. Вот и стоят избы заколоченные. Преют.

— Далеко отсюда?

— Верст пять одна, а хутор подале.

— Да... Надо б сходить посмотреть.

— А чего. Пойдем как-нибудь. Посмотришь, как крапива сквозь окна растет!

Сергей покачал головой, поправил ружье:

— Плохо это.

— Еще бы. Чего ж хорошего. Тошно смотреть на дома-то на эти. Такие срубы ровные, еловые все. Впору вывезти, ей-богу...

— А что, разве и вывезти некому?

Егерь махнул рукой:

— Аааа... Никто возиться не хочет. Обленился народ...

— Ну это ты зря. Вон сегодня на лесопильне как ваши вкалывали.

— Да рази ж так вкалывают? — удивился Кузьма Егорыч.

— А что, по-твоему, плохо работали?

Егерь опять махнул рукой:

— Так не работают. Мы до войны разве так работали? Часы считали? Да мы из лесу не выходили, свое хозяйство, бывало, забросишь, жена покойная ругмя ругает — сенокос, а мы — то переучет, то шишки, то посадка! Косишь последним, когда уж все убрались да чай пьют.

Сергей, улыбаясь, посмотрел на него.

Егерь широко шагал, разводя перед собой узловатыми руками:

— А в войну? Если б раньше мужики узнали, что в пяти верстах десять срубов никому не годных стоят, да их на следующий день бы разобрали! А щас — гниют себе и все... тошно глядеть... — Он замолчал, поправил трюх.

Ельник стал редеть, лучи солнца, пробившись сквозь хвою, упали на дорогу, заскользили по сероватым стволам.

— Щас повернем, и тут рядом совсем, — махнул рукой егерь. Свернули, пошли по заросшей кустарником тропке. Впереди вдруг послышался шум, захлопали тяжелые крылья, и меж стволов замелькали разлетающиеся глухари.

Егерь остановился, провожая их глазами:

— Вот они. Выводок... не вывелися, значит...

Постояли, слушая удаляющихся птиц.

— Здоровые какие, — покачал головой Сергей.

— Да. К осени молодых от стариков и не отличишь... вон как загрохотали...

Кузьма Егорыч осторожно прошел вперед, поискал глазами и нагнулся:

— Погляди-ка, Сереж...

Сергей приблизился, сел на корточках.

Усыпанная хвоей земля пестрела глухариным пометом, то тут, то там виднелись гладкие лунки купалок.

— Живут все-таки... — улыбнулся Кузьма Егорыч, взял на ладонь засохший червячок помета, помял и бросил. — Хоть бы эти-то не улетели...

Сергей понимающе кивнул.

За ельником лежал большой луг.

Трава была скошена, тройка одиноких дубов стояла посреди луга. Огромный стог сена виднелся в дальнем конце, прямо возле кромки. Егерь поскреб висок, оглянулся.

— Ну, вот и вышли. Теперь полверсты и просеки...

Сергей снял с лица прилипшую паутинку:

— Так это мы, значит, справа обошли?

— Ага.

— Быстро. А я хотел по просекам.

Егерь усмехнулся:

— Здесь короче.

Сергей покачал головой:

— Тебе в Сусанины надо идти, Егорыч!

— Да уж...

Пересекли луг, вошли в густой смешанный лес.

Кузьма Егорыч уверенно двигался впереди, хрустя валежником, отводя и придерживая упругие ветки орешин. Серый ватник его быстро облепила паутина, сухая веточка зацепилась за воротник.

— Егорыч, а тут, наверно, грибов много бывает? — проговорил Сергей в ватную спину егеря.

— Когда как.

— А этим летом как?

— Ничего. Марья три ведра принесла. Посолили.

Слева в окружении кустарника показался расщепленный молнией дуб. Расколотый вдоль ствол белел среди сумрачной зелени.

— Смотри, как его, — кивнул головой Сергей.

— Да. И вроде б не на отшибе стоял-то.

— А тот вон такой же. Чего ж в этот ударила...

— Богу, стало быть, видней.

Сергей рассмеялся.

— Чего смеешься? У нас вон в пятьдесят восьмом шли через поле с сенокоса четверо, все вилы да косы на плечах несли. А одна баба без ничего шла, горшок из-под каши несла. Гром и ударил в нее. А она без железа, да ростом пониже. Стало быть, за грехи с ней рассчитаться положил...

— Случайность, — пробормотал Сергей.

— Случайностей не бывает, — уверенно перебил его егерь.

Лес кончился, меж стволов показалась широкая, залитая солнцем просека.

Кузьма Егорыч повернулся к Сергею и поднял палец:

— Ну, теперь тихо. А то услышит, и пиши пропало.

— Как пойдём? — шепнул Сергей, снимая с плеча ружье.

— Во-он там по кустам переберемся...

Егерь снял с плеча свою двустволку, взвел курки и, сунув приклад под мышку, опустив ствол вниз, пошел через просеку. Сергей двинулся чуть погодя. Просека была широкой. Массивные пни успели порости кустами и папоротником, высокая трава стояла стеной по всей просеке. Егерь осторожно обходил пни, перешагивал через поваленные стволы. Сергей старался не отставать. На середине просеки из-под ног егеря поднялась тетерка и тяжело полетела. Кузьма Егорыч весело выругался, прожоя ее глазами, и пошел дальше. Когда приблизились к кромке, он молча показал Сергею на высокую ель. Сергей кивнул, положил ружье на землю, снял рюкзак и стал развязывать его. Егерь стоял с ружьем наперевес, оглядываясь и прислушиваясь. Сергей достал из рюкзака веревку и маленький кассетный магнитофон. Привязав к веревке камень, он размахнулся и швырнул его в гущу веток. Камень перекинул веревку сразу через три толстые лапы и, вернувшись вниз, закачался возле головы Сергея, который быстро подхватил его, отвязал и принялся привязывать к веревке магнитофон. Закончив, он нажал клавишу и потянул свободный конец. Запевший хриплым голо-

сом Высоцкого магнитофон стал быстро подниматься вверх. Чем выше он поднимался, раскачиваясь на натянувшейся веревке, тем громче разносился по притихшему осеннему лесу ритмичный звон гитары и проникновенно надрывающийся голос:

— А на кладбище все спокойненько, никого и нигде не видеть, все культурненько, все пристойненько, исключительная благодать!" — Магнитофон скрылся в густой хвое, помолчал и снова зашел.

"Перррвача купил и сладкой косхалвы, пива рррижского и керррченскую сельдь, и поехал я в Белые Столбы на бррратана да на психов посмотррреть..."

Сергей торопливо прикрутил веревку к стволу ели, поднял ружье и опустился на корточки, сдвинув большим пальцем пластинку предохранителя.

"— А вот у психов жиизнь, так бы жиил любооой, хочешь — спать ложиись, хочешь — песни пооой!" — неслось из ели.

Егерь напряженно смотрел в глубь леса.

Магнитофон спел песню про психов и начал новую — про того парня, который не стрелял.

Егерь с Сергеем по-прежнему неподвижно ждали.

Над просекой пролетели две утки.

Лесное эхо гулко путало слова, возвращая их обратно.

Сергей опустился для удобства на колени.

— Немецкий снайперрррр дострррелил меняяя, убив тогооооо, которрррый не стррррелял!" — пропел Высоцкий и смолк.

Из ели послышался его приглушенный разговор, потом смех немногочисленной публики.

Егерь сильнее наклонился вперед и вдруг замахал рукой, показывая ружье. Высоцкий неторопливо настраивал гитару. Сергей разглядел между деревьями приземистую фигуру, поймал ее на планку ружья.

— Ты што! Ты што! — отчаянно зашептал егерь, прячась за куст, — далеко! Подпусти поближе, поранишь ведь, уйдет!

Сергей облизал пересохшие губы и опустил стволы.

Высоцкий резко ударил по струнам:

— Лукморья больше нет, а дубооов прррростыл и след, дуб годится на паррркеет, так ведь — неет! Выходиили из избыы здоровннныя жлобыы, поррубииили все дубыы на

гррробыны!" — Приземистая фигура побежала к ели, треща валежником.

Сергей поднял ружье, прицелился, сдерживая дрожь потных рук, и выстрелил быстрым дуплетом.

Грохот заглушил льющуюся из хвои песню.

Темная фигура повалилась, потом зашевелилась, силясь подняться. Пока Сергей лихорадочно перезаряжал, егерь привстал из-за куста и отвесил дважды из своей тулки.

Шевеленье прекратилось.

— А ты уймииись, уймииись, тоскааа, у меня в гррруди! Это только прррисказкааа — скааазка впереди!" — протяжно пел Высоцкий. Вглядываясь сквозь пороховой дым, Сергей снова поднял ружье, но егерь замахал рукой:

— Хватит, чего в мертвяка пулять. Идем смотреть...

Они осторожно пошли, держа ружья наготове.

Он лежал метрах в тридцати, раскинув руки, уткнувшись головой в небольшой муравейник.

Егерь приблизился первым и ткнул его сапогом в ватный бок. Труп не шевелился.

Сергей тюкнул сапогом окровавленную голову. Она безвольно откатнулась на бок, показав ухо с приросшей к щеке мочкой. По уху ползали возбужденные муравьи.

Сергей положил ружье рядом и быстро вытащил из кожаных ножен висящий на поясе нож.

Егерь взял труп за руку и перевернул на спину.

Лицо было залито кровью, в которой копошились влипшие муравьи. Ватник был распахнут, на голой груди виднелись кровавые метки картечин.

Сергей с силой вонзил нож в коричневый сосок, выпрямился и вытер вспотевший лоб тыльной стороной ладони.

Изо рта трупа хлынула алая кровь.

— Здоровый, — улыбаясь, пробормотал егерь и, вытащив из кармана свой раскладной нож, стал умело срезать с мертвеца одежду. Сергей молча разглядывал убитого.

— Там взаправду есть и коот, как направо — так поеет, а налево — так загнет анекдоот...

— Надо б снять, Сереж, — поднял голову егерь.

Сергей кивнул и пошел к ели.

— Вот где его зацепило... во продырявило как... — бормотал

егерь, обнажая окровавленный живот трупа. Сергей подошел к дереву, развязал узел и осторожно спустил магнитофон.

— Это только присказкааа, — скаазка впереди! — успел пропеть Высоцкий и смолк, прерванный щелчком клавиши.

Сергей смотал веревку и вместе с магнитофоном убрал в рюкзак. Егерь тем временем ловко отрезал голову, откатил сапогом и выпрямился, тяжело дыша:

— Пушай кровь сойдет, тогда распластает...

Сергей вернулся, сел на корточки перед трупом:

— Как быстро мы его, а, Егорыч. И не верится даже...

— Ты попал, а я добил! — засмеялся егерь. — Стало быть, не вконец ослеп еще.

— Молодец.

— И шел-то, сволочь, из самой гущины.

— Да, шел неудобно.

— Но ты здорово дал ему! Все пузо так просеял!

— А в голову ты, наверное, попал...

— Ага. У меня оно выше берет... Надо б от муравьев отволочь, а то облепят...

— Давай под дуб оттянем...

Они взяли труп за ноги и поволокли.

Голова осталась лежать возле муравейника. Егерь вернулся, ухватил ее за ухо и перенес под дуб.

Из шеи трупа текла кровь.

Сергей достал флягу с коньяком, отхлебнул и передал Кузьме Егорычу.

Тот вытер липкие пальцы о брюки, бережно принял флягу, отпил:

— Крепкая...

Сергей рассматривал труп:

— А широкий тип. Плечи вон какие мощные.

Егерь отпил еще и вернул ему флягу:

— Здоровяк... Ну ладно, давай свежевать...

Он быстро вспорол живот, вырезал сердце и, отодвинув лиловатые кишки, стал вырезать печень:

— И тут ему попало...

Сергей улыбнулся, посмотрел вверх.

Еле видный коршун, слабо шевеля крыльями, парил над лесом.

- А печеночку мы щас и пожарить можем, — бормотал Кузьма Егорыч, копаясь в кишках.
- Точно, — отозвался Сергей, — на углях.
- Да и на палочке можно. Свежатину, знаешь, как хорошо...
- Знаю, — улыбнулся Сергей и снова поднес флягу к губам.
- Ну, с полем тебя, Егорыч.
- С полем, с полем, Сереж...

ВОЗМОЖНОСТИ

Когда день клонится к закату, когда хмурое сентябрьское небо дышит холодом и равнодушием, а черные подвалы подворотен — скукой и тоской, начинаешь невольно замечать дрожь своих бледных рук, понимая, что дрожат они вовсе не от сырого, промозглого, цепящего, обжигающего, ледящего ветра...

Что может человек? Бродить по нешироким улицам, полным тумана и водяной пыли? Поддевать тонким кончиком зонтика грязные желтые листья? Трогать рукой мокрые стены? Или может — подниматься по грязным черным лестницам в надежде встретить усталую женщину с мучнистым лицом провинциалки? А может — бесшумно отворить собственную дверь, нащарить выключатель и разбить его отчаянным ударом? А потом пройти на кухню, открыть старый пузатый холодильник и долго стоять, любуясь разноцветным содержимым? Зажечь газ, поставить греться чайник? Снять кашне, не снимая пальто? Достать замороженное мясо? Вывернуть карманы? Слушать, как мелочь катится по линолеуму? Снять штаны, не снимая пальто? Поставить закипающий чайник в холодильник? Положить штаны на зажженную плиту? Положить сверху мясо? Снять трусы, не снимая пальто? Разглядывать свой член? Прислушиваться к шороху ползущего по брюкам пламени? Сунуть теплые, пахнущие членом трусы в морозилку? Вынимать из двери холодильника яйца и равномерно бросать их на пол? Пройти в ванную, пустить теплую воду? Разглядывать себя в зеркало, слушая шум воды? Лечь в ванну, не снимая пальто? Петь народные песни, шлепая руками по воде? Выпускать газы, хохотом приветствуя их пробулькование? Тужась и гримасничая выдавить из себя порцию кала? Помочь ей выпутаться из

складок пальто и всплыть? Вынуть из кармана размокшие спички? Воткнуть одну из них в коричневую колбаску кала? Вытянув руку, снять с шампуня этикетку? Насадить ее на спичку в виде паруса? Дуть, заставляя неуклюжий кораблик кружиться вокруг колен? Петь что-то громкое, торжественное? С шумом водопада встать, вылезти из ванны? Ходить по задымленным комнатам. сгорбясь под намокшим пальто? Плакать и бить стекла старинного буфета? Мочиться, а попросту — ссать... а, вот что можно — мочится, или просто — ссать. Ссать, ссать, хорошо ссать. Можно ссать, ссать, ссать сладко, долго ссать, ссать так мягко, ссать тихо. Так долго ссать, ссать долго, сладенько ссать. Хорошо так ссать, ссать долго, мягенько ссать, ссать писичка, ссать, ссать сладенько, ссать тихенько, мягенько ссать, пиписичка, ссать сладко, сладенько, потненько и так ссать, вонюченько, чтобы так нассать властененько, ссать миленько, ссать, ссать тихенько, ссать, ссать, хорошенько, сладенько ссать, потненько ссать, ссать так тайненько, ссать, вонять, ссать и вонять, вонять и ссать сладко ссать вонюченько ссать чтобы была ссаная ссаная и сладкая чтобы было вонюче ссано и чтобы была ссаная вонь ссаная вонь ссаная вонь чтобы была эта ссаная вонь ссаная вонь ссаная вонь ссаная вонь ссаная вонь ссаная вонь ссаная вонь ссаная вонь ссаная вонь ссаная вонь ссаная вонь ссаная вонь ссаная вонь.

СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Соколов подбросил в костер две сухие еловые ветки, огонь мгновенно охватил их, потянулся вверх, порывистыми языками стал лизать днище прокопченного, висящего над костром ведра.

Сергей Андреевич посмотрел на корчащиеся в голубоватом пламени хвоинки, потом перевел взгляд на лица замороженных костром ребят:

— Роскошный костер, правда?

Соколов качнул головой:

— Да...

Лебедева зябко передернула худенькими плечами:

— Я, Сергей Андреевич, сто лет в лесу не была. С восьмого класса.

— Почему? — он снял очки и, близоруко щурясь, стал протирать их носовым платком.

— Да как-то времени не было, - проговорила Лебедева.

— Что ж ты с нами на Истру не поехала тогда? — насмешливо спросил ее Савченко.

— Не могла.

— Скажи — лень было. Вот и все.

— Вовсе и не лень. Я болела.

— Ничего ты не болела.

— Болела.

Сергей Андреевич примирительно поднял свою узкую руку с тонкими сухощавыми пальцами:

— Ну, хватит, Леша, оставь Лену в покое... Вы лучше присмотритесь, какая красотища кругом. Прислушайтесь.

Ребята посмотрели вокруг.

Порывистый огонь костра высвечивал темные силуэты кустов и молодых березок. Поодаль неподвижной стеной темнел высокий смешанный лес, над которым в яркой звездной россыпи висела большая луна.

Стояла глубокая ночная тишина, нарушаемая потрескиванием костра.

Пахло рекой, прелью и горелой хвоей.

— Здорово... — протянул, привставая, кудрявый и широкоплечий Елисеев, — прямо как в "Дерсу Узала".

Сергей Андреевич улыбнулся, отчего вокруг моложавых, скрытых толстыми стеклами очков глаз собрались мелкие морщинки:

— Да, ребята, лес — это удивительное явление природы. Восьмое чудо света, как Мамин-Сибиряк сказал. Лес никогда не может надоесть, никогда не наскучит. А сколько богатств в лесу! Кислород, древесина, целлюлоза. А ягоды, а грибы. Действительно — кладовая. Человеку без леса очень трудно. Невозможно жить без такой красоты...

Он замолчал, глядя в неподвижную стену леса.

Ребята смотрели туда же.

— Лес-то это, Сергей Андреевич, конечно хорошо, — улыбаясь пробормотал Елисеев. — Но техника все-таки лучше.

Он похлопал висящий у него на плече портативный магнитофон:

— Без техники сейчас шагу не ступишь.

Сергей Андреевич повернулся к нему, внимательно посмотрел:

— Техника... Ну, что ж, Витя, техника, безусловно, дала человеку очень много. Но мне кажется, главное, чтобы она не заслонила самого человека, не вытеснила его на задний план. Лес этого сделать никогда не сможет.

Ребята посмотрели на Елисеева.

Оттопырив нижнюю губу, он пожал плечами:

— Да нет, я ничего... Просто...

— Просто помешался ты на своей поп-музыке, вот и все! — перебила его Лебедева. — Без ящика этого шага ступить не можешь.

— Ну и что, плохо что ли? — он исподлобья посмотрел на нее.

— Да не плохо, а вредно! — засмеялась она. — Оглухнешь — никто в институт не примет!

Ребята дружно засмеялись.

Сергей Андреевич улыбнулся:

— Ну, Лебедева, тебе палец в рот не клади.

— А что ж он, Сергей Андреевич, носит, как с писаной торбой...

— А тебе какое дело? — буркнул Елисеев. — Ты тоже без своей консерватории прожить не можешь...

— Так это ж консерватория, чудак! Бах, Гайдн, Моцарт! А у тебя какие-то лохматые завывают.

— Сама ты лохматая.

Сергей Андреевич мягко взял Елисеева за плечо:

— Ну-ну, Витя, хватит. Ты ведь собираешься в МАИ идти. А летчикам нужна выдержка.

— А я не летчиком буду, а конструктором, — пробурчал раскрасневшийся Елисеев.

— Тем более.. Вот что, друзья. Давайте-ка, пользуясь такой ясной погодой, вспомним астрономию.

Сергей Андреевич встал, отошел немного поодаль и, сунув руки в карманы своей легкой куртки, посмотрел в небо.

Оно было темно-фиолетовым, звезды светились необычайно

ярко и казались очень близкими. Край ослепительно белой луны был слегка срезан.

— Лучше и наглядней любой карты, — тихо проговорил Сергей Андреевич и быстрым лаконичным движением поправил очки. — Тааак... Что это за вертикальное созвездие вон там?

Он вытянул вверх руку:

— Ну, кто смелый? Олег?

— Волосы Вероники? — неуверенно пробормотал Зайцев.

Сергей Андреевич отрицательно покачал головой:

— Оно правее и выше. Вон оно, под Гончими Псами... Витя?

— Кассиопея! — громко проговорил Елисеев, сунув руки в карманы джинсов и запрокидывая голову. — Точно, Кассиопея.

Стоящий рядом Соколов усмехнулся.

— Два с минусом, — проговорил Сергей Андреевич и быстро показал. — Вон твоя Кассиопея, возле Цефея.

Лебедева засмеялась.

Елисеев почесал затылок, пожал плечами:

— Но они вообще-то чем-то похожи...

— На тебя! — хихикнула Лебедева и из-за спины Соколова шлепнула Елисеева по затылку.

— Вот ненормальная, — усмехнулся Елисеев.

Сергей Андреевич повернулся к ребятам:

— Неужели никто не знает? Дима?

Савченко молча покачал головой.

— Лена?

Лебедева со вздохом пожала плечами.

— Просто перемешалось после экзаменов все в голове, Сергей Андреевич, — протянул Зайцев.

Елисеев усмехнулся, ногой поправил вывалившуюся из ковра ветку:

— У кого перемешалось, а у кого наоборот — все вылетело. Как в аэродинамической трубе...

Ребята засмеялись.

— А вот Мишка точно знает, по глазам видно, — покосилась Лебедева на Соколова.

Соколов смущенно посмотрел в костер.

Сергей Андреевич перевел взгляд на его узкое спокойное лицо:

— Знаешь, Миша?

— Знаю, Сергей Андреевич. Это созвездие Змеи.

— Тааак, — утвердительно качнул головой учитель. — Молодец. А над Змеей что?

— Северная Корона, — сдержанно проговорил Соколов в полной тишине.

— Правильно. Северная Корона. В ней звезда первой величины. А вот слева что за созвездие?

— Геркулес.

— А справа?

— Волопас.

Сергей Андреевич улыбнулся:

— Пять с плюсом.

Елисеев покачал головой:

— Ну, Мишка, ты даешь. Прямо как Джордано Бруно.

Соколов смотрел в небо, теребя край куртки.

Закипевшая в ведре вода побежала через край, с шипением полилась на костер.

— Ух ты, прозевали! — засуетился Елисеев, хватаясь за один из концов поперечной палки, на которой висело ведро. — Олег, снимаем быстро!

Зайцев взялся за другой конец.

Двоем они сняли ведро с огня и аккуратно поставили на усыпанную золой траву.

Сергей Андреевич подошел, наклонился:

— Так. Закипела. Ну, давайте чай заварим.

Ребята стали высыпать чай из заранее приготовленных пакетов в кипяток.

— А может и сгущенку туда сразу, а? — вопросительно посмотрела Лебедева.

— Что ж, идея хорошая, — кивнул головой учитель.

Елисеев достал две банки из рюкзака и принялся открывать их. Лебедева, тем временем, мешала в ведре свежееобструганной палкой. Быстро открыв банки, Елисеев опрокинул их над ведром. Двумя белыми тягучими полосами молоко потянулось вниз...

Вскоре ребята и учитель с удовольствием пили сладкий ароматный чай, прихлебывая его из кружек.

Влажный ночной ветерок качнул пламя угасающего костра, принес запах реки.

Слабеющие язычки плясали над янтарной грудой угля, колеблясь, пропадая и появляясь вновь.

— Самый раз — картошку положить, — предложил Зайцев, прихлебывая чай.

— Точно, — согласился Елисеев и палкой стал разгребать угли, щурясь от жара.

Сергей Андреевич допил свой чай и поставил кружку на пенек:

— Лена, а ты, кажется, в текстильный собираешься?
Кружка Лебедевой замерла возле ее губ.

Лена посмотрела на учителя, потом опустила кружку, перевела взгляд на костер:

— Я, Сергей Андреевич... я...

Она набрала побольше воздуха и твердо произнесла:

— Я решила пойти на ткацкую фабрику.

Ребята молча посмотрели на нее.

Раскапывающий угли Елисеев удивленно хмыкнул:

— Ну, ты даешь! Отличница и к станку. Шпульки мотать..

— А это не твое дело! — перебила его Лебедева. — Да, я иду на фабрику простой ткачихой. Чтобы по-настоящему почувствовать производство. А цену своим пятеркам я знаю.

Елисеев пожал плечами:

— Но тогда можно было пойти на заочный или на вечерний, а самой работать..

— А мне кажется, что лучше просто отработать год, а потом поступить на дневной. Тогда мне и учиться легче будет и жизнь побольше узнаю. У нас в семье все женщины — потомственные ткачихи. И бабушка, и мама, и сестра.

— Правильно, Лен, — кивнул головой Зайцев. — Мне мой дядя рассказывал про молодых инженеров. Пять лет отучатся, а предприятия не знают...

Сергей Андреевич понимающе посмотрел Лебедевой в глаза:

— Молодец. В институте ты будешь учиться еще лучше. А год на фабрике — это очень полезно. Я тоже в свое время прежде, чем в МГУ поступать год проработал простым лаборантом в обсерватории. Зато потом на практических занятиях ориентировался лучше других.

Елисеев почесал затылок:

— Так может и мне сначала лаборантом в аэродинамической лаборатории поработать?

Сидящий рядом Зайцев хлопнул его по плечу:

— Точно, Витек. Ты в трубе вместо самолета стоять будешь. Ребята засмеялись.

— Вот тогда из него всю дурь магнитофонную повывудет! — громче всех засмеялась Лебедева, вызвав новый взрыв хохота.

Елисеев замахал руками:

— Ну хватит надрываться! Что вы, как ненормальные... давайте кладите картошку, а то угли остынут...

Ребята стали доставать картошку из рюкзаков и бросать в угли.

Елисеев закапывал ее, ловко орудуя палкой.

Савченко склонился над пустым ведром:

— А что, чай кончился уже?

— Так его и было немного — полведра всего. Все же выкипело...

— Ребят, сходите кто-нибудь за водой! — громко попросила Лебедева. — Мы сейчас новый чаек поставим.

Сергей Андреевич взял ведро:

— Я схожу.

Стоящий рядом Соколов протянул руку:

— Сергей Андреевич, лучше я.

— Нет, нет, — учитель успокаивающе поднял ладонь. — Ноги затекли. Насиделся.

— Тогда можно мне с вами? Все-таки далеко нести...

Учитель улыбнулся:

— Ну пошли.

Они двинулись к лесу.

Невысокая июньская трава мягко шелестела под ногами, ведро в руках Сергея Андреевича тихо позвякивало.

Большие, освещенные луной кусты обступали со всех сторон, заставляя петлять между ними, отводить от лица их влажные ветки.

Сергей Андреевич неторопливо шел впереди, насвистывая что-то тихое и мелодичное.

Когда вошли в лес, стало прохладно, ведро зазвенело громче.

Сергей Андреевич остановился, кивнул головой наверх:

— Смотри, Миша.

Соколов поднял голову.

Вверху сквозь слабо шевелящуюся листву мутно-белыми полосами пробивался лунный свет, а сама луна посверкивала в

макушке высокой ели. Полосы молочного света косо лежали на стволах, серебрили кору и листья.

— Прелесть какая, — прошептал учитель, поправляя очки, в толстых линзах которых призрачно играла луна. — Давно такого не видел. А ты?

— Я тоже, — торопливо пробормотал Соколов и добавил, — Луна какая яркая..

— Да. Недавно полнолуние было. Сейчас ее в рефрактор как на ладони видно...

Сергей Андреевич молча любовался лесом.

Через некоторое время Соколов спросил:

— Сергей Андреевич, а наш класс будет каждый год собираться?

— Конечно. А что, уже соскучился?

— Да нет... — замялся Соколов. — Просто... я вот...

— Что? — учитель повернулся к нему.

— Ну я...

Он помолчал и вдруг быстро заговорил, теребя ветку орешника:

— Просто... Вы для меня столько сделали, Сергей Андреевич... и вот кружок, и астрономию я полюбил поэтому... А сейчас — выпуск и все. Нет, я понимаю, конечно, мы должны быть самостоятельными, но все-таки... я..

Он замер и быстро проговорил начавшим дрожать голосом:

— Спасибо вам за все, Сергей Андреевич. Я... я... никогда в жизни не забуду то, что вы для меня сделали. Никогда! И вы... вы... вы великий человек.

Он опустил голову.

Губы его дрожали, пальцы судорожно комкали влажные листья.

Сергей Андреевич нерешительно взял его за плечо:

— Ну что ты, что ты, Миша...

Минуту они простояли молча.

Потом учитель заговорил — тихо и мягко:

— Великих людей, Миша, очень мало. Я же не великий человек, а простой учитель средней школы. Если я тебе действительно в чем-то помог — я очень доволен. Спасибо тебе за теплые слова. Парень ты способный и мне кажется из тебя должен получиться хороший ученый. А вот расстраиваться,

по-моему, ни к чему. Впереди новая жизнь, новые люди, новые книги. Так что повода для хандры я не вижу.

Он потрепал Соколова по плечу:

— Все будет хорошо. Класс ваш дружный. Каждый год встречаться будем. А ко мне ты в любое время заходи. Всегда буду рад тебе.

Соколов радостно поднял голову:

— Правда?

— Правда, правда, — засмеялся Сергей Андреевич и слегка подтолкнул его. — Ну, пошли, а то ребята чаю не дождутся.

Они двинулись через призрачно освещенный лес.

Ведро снова стало поскрипывать, сучья захрустели под ногами.

Сергей Андреевич шел первым, осторожно придерживая и отводя гибкие ветки кустов.

Лес расступился, кончился резким обрывом с неровными краями, поросшими мелким кустарником.

Внизу блестела узкая полоска реки, сдавленная зарослями буйно разросшегося камыша.

За рекой долго тянулось мелколесье и лишь вдалеке поднимался темный массив соснового бора.

Сергей Андреевич постоял на краю обрыва, молча разглядывая открывшийся вид, потом шагнул вниз и молодецкато сбежал к реке по крутому песчаному спуску.

Соколов спустился следом.

Возле реки песок был плотным и мокрым.

Сергей Андреевич ступил на лежащий в воде пень, зачерпнул ведром:

— Вот так...

Слева из густых камышей вылетел бекас и, посвистывая, полетел прочь.

— Красота какая, — проговорил учитель, опуская ведро на песок. — Вот, что значит — природа, Миша...

Он помолчал, потом, сунув руки в карманы куртки, продолжал:

— Как все гармонично здесь. Продумано. Непроизвольно. Вот у кого надо учиться — у природы. Я, признаться, если раз в месяц сюда не съезжу — работать не могу...

Он посмотрел вдаль.

Сосновый бор тянулся до самого горизонта, растворяясь в розоватой дымке, подсвечивающей на востоке ночное небо.

Соколов тихо проговорил:

— А мне, Сергей Андреевич, это место тоже очень нравится. Я сюда обязательно приеду.

— Приезжай, — кивнул учитель. — Здесь как бы силу набираешь. Чистоту душевную. Как-будто из заповедного колодца живую воду пьешь. И после воды этой, Миша, душа чище становится. Вся мелочь, дрянь, суета — в этот песок уходит...

Он поднял ведро и пошел вверх по осыпающемуся песку.

Наверху Соколов протянул руку к ведру:

— Сергей Андреевич, можно я понесу?

— Неси, — улыбнулся учитель, передал ему ведро и добавил: — Иди, я попозже подойду. Воздухом лесным подышать хочется...

Соколов подхватил тяжелое ведро и двинулся через лес.

Сергей Андреевич стоял над обрывом, скрестив руки на груди и глядя перед собой.

Пройдя десятка два шагов, Соколов оглянулся.

Неподвижная фигура учителя четко вырисовывалась между стволами.

Соколов шагнул в сторону и встал за молоденькую елку, поставил ведро рядом с собой.

Учитель постоял минут пять, потом вошел в лес, забирая немного вбок.

Пройдя меж двух близко растущих берез, он остановился, расстегнул ремень, спустил брюки и присел на корточки.

Широкая полоса лунного света падала на него, освещая спину, голову, скрещенные на коленях руки.

Послышался слабый, прерывистый звук выпускаемых газов, Сергей Андреевич склонил голову, тихо постанывая, и снова до слуха Соколова долетел такой-же звук, — более громкий, но менее продолжительный.

Соколов смотрел из-за елки, растирая пальцами молодую хвою.

Сзади протяжно закричала какая-то птица.

Через некоторое время Сергей Андреевич приподнялся, протянув руку, сорвал несколько листьев с орешника, подтер-

ся, подтянул штаны, застегнул и, посвистывая, двинулся в ту сторону где мелькал между стволами огонек костра.

Он шел уверенно и быстро, треща валежником, поблескивая очками.

Вскоре его худощавая фигура пропала в темноте леса, а немного погодя, пропал и звук легкого посвистывания.

Постояв в темноте и прислушиваясь, Соколов поднял ведро и двинулся вперед. Перешагивая поваленное дерево, он неосторожно качнул ведром — холодная вода плеснула на ботинок.

Перехватив ведро в другую руку, он обошел елку и направился к двум близко растущим березам. Лунный свет скользил по их стволам, заставляя бересту светиться на фоне темного ельника.

Соколов прошел между березами и остановился. Перед ним лежала небольшая, залитая луной поляна. Невысокая трава искрилась росой, листья орешника казались серебристо-серыми.

Над поляной стоял еле слышный запах свежего кала.

Соколов оглянулся по сторонам.

Кругом неподвижно маячили темные силуэты деревьев. Он посмотрел перед собой, сделал пару шагов и, опустив ведро, присел на корточки.

Небольшая кучка кала лежала в траве, маслянисто поблескивая. Соколов приблизил к ней свое лицо. От кала сильно пахло. Он взял одну из слипшихся колбасок. Она была теплой и мягкой. Он поцеловал ее и стал быстро есть, жадно откусывая, мажа губы и пальцы.

Снова где-то далеко закричала ночная птица.

Соколов взял две оставшиеся колбаски и, попеременно откусывая то от одной, то от другой, быстро съел.

В лесу стояла тишина.

Подобрав мягкие крошки и тщательно вытерев руки о траву, он наклонил ведро и стал жадно пить. Черная бездонная вода качнулась возле его лица, вместе с ней качнулась луна и перевернутые созвездия.

Соколов жадно пил, обняв холодное ведро потными ладонями и наблюдая как дробится, распадается на блики вертикальная палочка созвездия Змеи.

КИСЕТ

Пожалуй, ничего на свете не люблю я сильней русского леса. Прекрасен он во все времена года и в любую погоду манит меня своей неповторимой красотой.

Хоть и живу я сам в большом городе и по происхождению человек городской, а не могу и недели прожить без леса — отложу все дела, забуду про хлопоты, сяду в электричку и через какие-нибудь полчаса уже шагаю по проселочной дороге, поглядывая вперед, ожидая встречи с моим зеленым другом.

Вот и в эту пятницу не удержался, встал раньше солнышка, позавтракал быстро, по-походному, сунул в карман штормовки пару яблок — и к вокзалу.

Взял билет до моей любимой станции, сел в электричку и поехал.

Еду, гляжу в окно. А там — начало мая, все распускается, зеленеет, душу радует. Мелькают встречные электрички, а в них людей полным-полно. Все в город едут, а я в пустом вагоне из города — к лесу. Чудно...

Доехал до места, вышел на перрон, посмотрел влево. А там на горизонте лес темнеет. И видно, что верха-то его зеленцой тронуты — еще неделя, и все зазеленеет. Вот радости-то мне будет!

Но, однако, гляжу — облака над лесом порозовели, вот-вот солнышко выкатится; надо поспешать, коль хочешь рассвет в лесу встретить. Сошел я с перрона и мимо небольшого поселка, мимо школы и каланчи пожарной заспешил в мои любимые места.

Иду, а сам на облака поглядываю — боюсь опоздать к рассвету.

А кругом такая красота и тишь — сердце радуется!

Земля молодой травкой проклюнулась, по оврагам дымка стоит, и пахнет так, как только одной весной пахнуть может.

От этого духа словно кровь в тебе закипает, и чувствуешь ты, что не сорок тебе с лишним, а все двадцать лет!

Прошел я по кромке поля, по жердочке пересек ручей и сразу в лесу оказался. Тут уж спешить некуда — нашел полянку знакомую, сел на поваленную березу и смотрю вокруг, наслаждаюсь.

Стоят окрест березки белоствольные — словно свечки, тя-

нут ветки кверху, а на ветвях уже крошечные зеленые листочки, эдакий дым зеленый. Тут и солнышко уж поднялось, лучи-то вкось по стволам заскользили. Сразу и птицы запели сильнее, и от травки молодой пар пошел. Ветерок утренний по верхам пробежал, закачались березки, запахло зеленью молодой.

Красота!

Сижу я, люблюсь, ан вдруг слышу — кто-то кашлянул сзади.

Вот, думаю, кого-то нелегкая принесла. И тут одному побыть не дадут. Оборачиваюсь. Вижу, идет ко мне, не торопясь, мужчина лет, прямо скажем, солидных — из-под серой кепки виски совсем белые проглядывают. Телогрейка на нем, сапоги, рюкзак за плечами. И смотрит приветливо.

— Утро доброе, — говорит.

— Здравствуйте, — я ему отвечаю.

— Вы, — говорит, — разрешите мне тут посидеть немного, больно уж хороша поляна. Я вам не помешаю.

— Садитесь, — говорю. — Пожалуйста. Места тут всем хватит.

— Да... — говорит он, вздохнув, — это верно. В лесу места много...

Опустил рюкзак на землю, сел.

Сидим мы, смотрим, как солнышко все выше да выше сквозь ветки пробирается. А я изредка на незнакомца поглядываю.

Снял он кепку, на березу положил. Вижу — голова у него совсем седая, словно мукой посыпана. Лицо морщинистое, пожилое, а вот глаза по-молодому смотрят, с огоньком.

Посидели мы еще минут несколько, он и говорит:

— Кто рассвет в лесу встречает, тот стар не бывает.

Согласился я с такой мудростью.

— А вы, — говорю, — любите рассвет в лесу встречать?

— Люблю, — говорит.

— И часто встречаете?

— Да каждый день приходится.

Удивился я.

— Вы, — говорю, — счастливый человек. Наверное, в поселке живете?

— Нет, — отвечает, — я не здешний. Я просто, — говорит, — по лесу хожу.

Вот, думаю, тебе и на. По лесу ходит. Может, думаю, разбойник какой или беглый?

А он словно мысли мои прочел — улыбнулся, морщинки возле глаз так и залучились.

— Вы, — говорит, — не думайте дурного. Я не сумасшедший и не преступник. Я травник. Травы, корешки лекарственные собираю и сдаю. Из них потом фармацевтическая фабрика лекарства делает. Этим и живу. Раньше в артели работал, а недавно один решил. Вот и хожу один...

— Так ведь, — говорю, — сейчас травы-то почти нет — только-только показалась.

— Правильно, — говорит, — я ландыши собираю.

— Как? Они ведь, — говорю, — отцвели...

— Тоже верно, — улыбается, — цветки-то отцвели. А плоды — в самый раз для сбора. Вот, полюбуйтеесь...

И рюкзак свой потертый развязывает.

Подсел я ближе, смотрю, а в рюкзаке у него сплошь разные пакеты целлофановые; в одних — кора, в других — корешки. А он вынимает самый большой пакет, развязывает и говорит:

— Это и есть плоды ландышей. Они в медицине очень широко используются.

Гляжу, целый пакет красненьких бусинок, ландышами от них совсем не пахнет.

— Да, — говорю, — цветы-то я всегда замечал, а вот плоды — впервые вижу.

А незнакомец улыбается:

— Ничего, — говорит, — бывает. Вы, — говорит, — городской?

— Да, — говорю, — из города.

Он улыбнулся и ничего не сказал.

А солнце уж поднялось, припекать стало. Незнакомец свой ватник-то скинул, рядом на березу положил. Под ватником у него военная гимнастерка без погон оказалась, а на ней целый квадрат орденских ленточек. Штук не меньше двадцати. Сразу видно — не обошла война человека. Щурится он на солнышко и достает из кармана кисет. И кисет, прямо скажем, странный. Не простой. Сам я курением никогда не баловался и во всех курительных тонкостях не силен. Но кисеты видел — приходилось давно еще, в детстве. Тогда многие старики курили трубки или самокрутки. И ничего, скажем, особенного в тех кисетах не

было — обычные матерчатые или кожаные мешочки с табаком. А этот — особенный, весь потертый, с узором, со шнурком шелковым. Да и шит из какой-то тонкой кожи, наподобие лайки. Видать, не нашего пошива.

Незнакомец его бережно на колени положил, развязал, достал бумажку и принялся за самокрутку.

Тут я не выдержал, да и спрашиваю:

— Простите, а что ж это у вас за кисет такой?

Он повернулся, улыбается и переспрашивает:

— А какой — такой?

— Да, — говорю, — особенный. Басурманский прямо.

— Басурманский? — переспросил он и головой качнул. Хоть улыбаться не перестал, а в глазах что-то вроде укора промелькнуло. — Эх вы, — говорит, — басурманский... Какой же он басурманский? Его самые что ни на есть русские руки сшили.

И замолчал.

Молчу и я. Неловко мне, что невпопад спросил человека.

А он тем временем свернул самокрутку, раскурил, не торопясь, а кисет не убрал. Держит его на ладони, разглядывает. И в лице у него что-то суровое появилось, словно сразу постарело оно.

Посидел он так, покурил, а потом и говорит:

— Вот насчет того, что — необычный, это вы правильно сказали. Кисет этот и впрямь необычный. У меня с ним, прямо скажу, вся жизнь связана.

— Интересно, — говорю, — как же это так?

— Да вот так, — отвечает и, покуривая, на солнышко щурится. — История эта давно началась. Сорок лет назад. Ежели у вас и впрямь интерес к кисету имеется — расскажу вам эту историю.

— Конечно, — говорю, — расскажите. Мне действительно очень интересно послушать.

Докурил он, погасил окурочек и принялся рассказывать.

— Родился, — говорит, — я в деревне Посохино, что под Ярославлем. Там детство мое белобрысое да босоное прошло. Там и юношествовать я начал. А тут — война. Не дала она мне, проклятая, даже и поцеловать мою подружку — двадцать третьего июня в восемнадцать лет пошел добровольцем.

Бросили нас, пацанов, под Киев. Из всего полка за три дня боев осталось сорок два человека. Все иссеченные, ободранные.

Вышли из окружения. Потом отступали. А отступление, мил человек, это хуже смерти. Никому не пожелаю. Идем, бывало, через деревни, а бабы да старики выйдут, возле изб станут и стоят молча — смотрят. А мы — головы опустив, идем. Идем, а у меня так сердце в груди и переворачивается. А в глаза им взглянуть не могу... Так прошли мы до самого Смоленска, а там в одной деревеньке остановились на привал пятиминутный — ремень подтянуть да портянки переменить. И вот, мил человек, стукнул я в окошко одной избы, — чтоб, значит, воды испить вынесли. И выходит ко мне девушка — моя ровесница. Красивая, синеглазая, русая коса до пояса. Я сразу и язык проглотил — думал, тут кроме старух да стариков и нет никого. А она без слов поняла мою просьбу, вынесла воды в ковшике медном и стоит. Я ту воду залпом выпил, и, признаюсь, показалась она тогда мне слаще всех вин и нектаров. Отер губы рукавом, передал ей ковшик и говорю:

— Спасибо тебе.

А она тоже на меня смотрит во все глаза, я ведь, не скрою, тогда парень видный был.

— На здоровье, — говорит. — А вы, — говорит, — курящий?

— Да, — говорю, — покуриваю слегка.

Тут она ушла и вскоре возвращается, а в руке у нее кисет. Вот этот самый кисет. В ту пору он совсем новый был. И молвит она мне такую речь:

— Этот кисет, товарищ солдат, сшила я недавно. Хотела своему брату послать, да вот пришла на него похоронка неделю назад. Погиб он под Гомелем. Возьмите вы этот кисет. В нем и табак хороший. Я еще до войны в городе покупала.

И протягивает мне кисет.

— Спасибо, — говорю. — А как тебя звать?

— Наташей.

— А я, — говорю, — Николай.

И тут она меня за руку берет и говорит:

— Вот что, Николай. Есть у меня к тебе одна просьба. Пообещай мне, что курить ты отныне бросишь и не закуришь до тех пор, пока наши Берлин не возьмут. А как только возьмут, одолеют врага, — тогда сразу и закури.

Удивился я такой просьбе и такой уверенности в нашей победе. Но сразу пообещал. И скажу вам прямо — от эдакой уверенности и сам я тогда словно силы набрался, крепче стал.

Будто в сердце у меня какой-то поворот сделался. Всю войну кисет Наташи у сердца хранил, а глаза ее забыть не мог ни на час. Во время самых тяжелых боев помнил я их и видел перед собой... Короче, ходил я огненными военными тропами все четыре года. Москву оборонял, Ленинград освобождал, потом на запад пошел. Брал Киев, брал Варшаву. Брал и Берлин. И рейхстаг брать мне пришлось. В то время был я капитаном, командовал батальоном. Трижды ранен, трижды контужен. Медалей — полная грудь. Четыре ордена. И вот, мил человек, взяли мы рейхстаг, добились зверя в его логове. И хоть тяжелый, кровавый бой был, а вспомнил я про Наташин наказ, как только закричали все вокруг "ура!" — достал кисет, развязал, насыпал табаку в клочок армейской газеты, свернул самокруточку и закурил. Закурил... И вот что скажу — слаще той самокрутки ничего не было. Курил я, а сам слезы кулаком вытирал. Как говорится — поработали, добились кровавого гада, теперь и покурить можно...

Ну, а потом пришла ко мне беда. День Победы, пора домой ехать, а тут нашлась в полку черная душа — оклеветала меня перед начальством, и арестовали солдата. Поехал я по злему навету в Сибирь лес валить. И валил его вплоть до двадцатого съезда нашей партии. И все это время кисет Наташин со мной был. Лежал у сердца. В лютые сибирские морозы согревал он меня, не давал духом пасть. А Наташино лицо так и стояло перед глазами. Тяжело мне пришлось, не скрою. Но — выжил, а главное — злобы не нажил. Вернули мне в пятьдесят шестом партбилет, устроили на работу в роно. И как только первые выходные выдались — сразу в Смоленскую область поехал. И аккуратно в ту самую деревню. Быстро нашел ее. Да только Наташиного дома найти не смог. Нет его. В войну всю деревню немцы сожгли, после в сорок шестом ее заново строили. А Наташа, как мне в ихнем сельсовете сказали, еще в сорок первом в партизаны подалась. С тех пор ничего про нее не слышали. Отряд был из небольших и вскоре ушел в Белоруссию. Вот, мил человек, дела какие. А главное, она ведь с бабушкой жила, родителей еще до войны потеряла. А бабуля уж давно померла. Так что концов родственных никаких не осталось. Но хоть фамилию узнал. Поляковой она была. Ну и начались поиски Наташи Поляковой. Ох и поскрипели тогда мои ботиночки. Четыре года искал я свою Наташу. И нашел. Нашел!

Написали мне, что живет она в городе Одессе. Полякова Наталья Тимофеевна, 1923 года рождения. Взял я отпуск за свой счет и поехал в Одессу. Нашел улицу, нашел дом. Вошел во двор. Подказали мне квартиру номер шесть. Стучу. И открывает мне моя Наташа. За шестнадцать лет она совсем не изменилась. Ну, чуть-чуть только. Косу не остригла, и глаза все те же остались. Как два василька.

— Здравствуй, — говорю, — Наташа. Вот я тебе и нашел.

А она смотрит так удивленно и спрашивает:

— А вы кто?

Тут я ей кiset показываю.

Она поглядела, руки к лицу поднесла, подняла так левую, а после юбку теребит и так потрогает, потрогает и отпустит, а ногой качает и меня все тянет за рукава. А я стою с кisetом и плачу. А она присела и ногами так поделает, поделает и стала рукой колебать, чтобы выпрямить шнурок, а то он немного крив, когда не в натяжении, когда подается, но другой-то конец в натяжении, потому что в кисете был табак "Дукат". И вот так вот мы пошли, пошли в квартиру, или вернее, в комнату, а она была немаленькой. Наташа так головой покачает, покачает и снова рукой делает, чтобы подавать, чтобы я шел вдоль, вольно. А я кiset опустил и решил возле шифонера. И тут все положенное, как последовательно говорили о главном, о фотографиях. Я плакать не умел, но стал говорить. Я говорю, мил человек, что работаю и делаю разные заказы по поводу чистого. И замечания. И она улыбается, потому что тоже знаком какой выброс, какое скольжение, располагает к ужину:

— Садитесь, садитесь. Это же наше дорогое.

А я говорю, а почему мы так вот расположены и не слишком думали, что я был печатником там или чтоб знал, как надо прислонить правильно?

Или, может, я знал меньше?

Или перхоть была?

Они же понимали, что пол там как раз, даже другое больше, и не знал, почему я верил.

А я что — не брал половины?

Я же райком в утро тревожил и знал все телефонограммы.

Они проверяли. Это шло через Софронию прямиком, даже если там указывалось через десятку, двойку, шестерку.

И смотрели.

Но верить, что разведение точно, и понимать, когда листы в руках были — отношение не книги. Не по книге. И не братство тесное, не точное. Мы понимали, почему тогда на каждом тяжелом углу говорили: "Запахундрия". Это было там первое действие по проверке. Точная дата и сразу — сигнал, сигнализированные, нелишенные, а после только — правильная почта, правильное золото. Жизнь была правильная. И жили правильно, потому что я видел, как намечалось, как выровняли по чистой сердцевине, избавили от этого вот лишнего веса.

Я понимаю, что ты говорила мне, когда так вот наклонишься, наклонишься и голенькая показываешь мне молочное видо, где гнилое бридо. Я знал, что именно спереди есть молочное видо, а сзади между белыми — гнилое бридо, а чуть повыше, если так вот верить и водить — будет и мокрое бридо, то есть мокренькое бридо, очень я понимал.

Я уверен, что простые человеческие условия будут хорошо понимать и главное — обнимать. А обниматься — мы не понимали, почему я думал, что обниматься можно только за молочное видо. Обниматься, я ведь очаровательно помнил, что обниматься против потока, против уяснения необходимо правильно. И обнимались очень правильно.

Простое расписывание всего необходимого мы извлечем.

Я уверен, что я буду делать самое твердое, неподвластное.

Молочное видо мы уневолим шелком.

Гнилое бридо необходимо понимать как коричневый творог.

Мокрое бридо — это память всего человечества.

А кiset?

С кisetом было трудно, мил человек.

Я помню, ночью, бывало, встанешь — полшестого тьма за окном фрамуга насквозь промерзла позавтракаешь чаем пустым и на вокзал а там мешки с углем разгружать в двенадцать обед в кухню зайдешь а там пар как в бане повара стоят возле чанов а в чанах там булькает клокочет варят головы у пленных отрубанные в муке в муке там в клейстере и запах богатый идет так слюною весь изойдешь повар там был знакомый Эраст ты мигнешь он отворотится этот Эраст а ты рукавами ватника голову из чана хвать да за полу да на двор в снег бросишь шабер из валенка дерг да по темени тюк тюк расколупаешь черепок на мозги и ешь и ешь ешь не ох наешься так что вспотеешь аж

вот как жили а теперь вон в магазинах и не бывает совсем я ходил я кланялся просил что ж они уважить фронтовика не могут почему нет в магазинах это не дело я ведь мил человек прекрасно разбирался во всем точно сделано что я понимаю когда надо делать правильно когда промерять обниматься надо только за молочное видо в этом простое равновесие.

Так что, в соответствии с упомянутым, мы положим правильное:

Молочное видо будем понимать как нетто.

Гнилое бридо — очищенный коричневый или корневой творог.

Мокрое бридо — простейший реактор.

А кисет?

С кисетом было трудненько, мил человек.

Я помню он тогда меня разбудил открыл дверь приглашает а там Ксения обугленная и лежит господи я так и присел черная как головешка а рядом червь тот самый на белой простыне толстенький не приведи господь как поросенок и весь белый-белый в кольцах таких и блестят от жиру-то а сам-то еле шевелится наелся чего уж там ну я стою а Егор Иваныч в слезы тут старухи пришли покровские простынь за четыре угла да червя с молитвою и вынесли а он как заскрипит гад такой аж всех передернуло ну вынесли во двор а там уж Миша с Петром в сетках с дымарами стоят улей наготове держат открыли крышку рогожу оторвали и прочь а старухи червя в улей вывалили пчелы его и стали поедом есть а Петр крышкой привалил так ведь до вечера скрипел окаянный из-под крышки.

Так что, в соответствии с упомянутым, мы положим правильное:

Молочное видо будем расценивать мокрою манною.

Гнилое бридо — свежий коричневый творог.

Мокрое бридо — шахта второго прохода.

А кисет?

С кисетом было трудненько, мил человек.

Я помню утром команду дали всех построили Соловьев приказал зачитать каждому в руки по лопате и вперед копаем копаем а там все стена да стена часа четыре прокопали пока торец показался ну тут Соловьев рукой махнул перекур сели покурили поели у кого что было потом опять копать копаем наконец другой торец выглянул подвели двадцать шесть домк-

ратов покачали поднялась еще покачали еще поднялась саперы бревна всунули нажали кроптофу стали открывать а там замки замки пришлось спиливать только потом открыли и поползло из-под нее это Степа страшно сказать целые тонны вшей я такого никогда не видел просто волны целые и все по руслу копанному идут и тут Соловьев кричит помпы помпы так вас перетак Жлуктов с прапором запустили и давай качать а они шуршат как не знаю что как песок что ли или нет не как песок а как пыль что ли и пахнет так я и не знаю как это сказать ну пахнет вшами в общем и это прямо так неожиданно было я и не знал и Сережка тоже не знал.

Так что, в соответствии с упомянутым, мы положим правильное:

Молочное видо будем учитывать как необходимые белила.

Гнилое бридо — коричневый творог.

Мокрое бридо — плесень подзалупная.

А кiset?

С кisetом было трудненько, мил человек.

Я помню растолкал он нас с Аней тогда с утречка показал коробки вороха и говорит надо быстрее сортировать а мы уж готовы мы тут же полезли по полкам и за работу и вот сидим сортируем а я у Ани и спрашиваю про тот случай ну как все было а она и стала рассказывать она говорит что Маша когда беременная ходила то еще тогда все удивлялись что живот маленький хотя уж и седьмой месяц и восьмой и девятый а когда родила так совсем было удивительно маленький мальчик то есть не то что маленький а зародыш он на ладони умещался и сначала отдали их в больницу на сохранение но он же нормальный доношенный и живой но после их выписали и они дома были и он стал расти но не так как надо то есть не весь а у него стала как бы вытягиваться грудная клетка то есть низ и верх не рос а промежуток вытягивался и он так вот вытягивался она говорит он лежал как колбаса а после еще больше вытянулся и стал ползать как гусеница и совсем не плакал ничего а она ему давала из пипетки молоко и детское питание а после взяла его и поехала к своим потому что все стали об этом говорить и вот два года ее не было и со свекровью они поругались она не писала а после свекровь решила сама к ним поехать и поехала а вернулась вся седая и ничего не говорила только деньги Маше послала и плакала по ночам и тогда Аня с Андреем поехали но их

в дом не пустили и Маша с Аней грубо говорила через дверь и Аня видела что у них окна все зашторены глухо а больше ничего не знает.

Так что, в соответствии с упомянутым, мы положим правильное:

Молочное видо — это сисоло потненько.

Гнилое бридо — это просто пирог.

Мокрое бридо — это ведро живых вшей.

ПРОЕЗДОМ

— Ну, а в целом, товарищи, ваш район в этом году работает хорошо, — Георгий Иванович улыбнулся, слегка откинулся назад, — это мне и поручено передать вам. — Сидящие за длинным столом ответно заулыбались, стали переглядываться. Качнув головой, Георгий Иванович развел руками:

— Когда хорошо, товарищи, тогда, действительно хорошо, а когда плохо, что ж и обижаться. В прошлом году и с посевной опоздали, и комбинат ваш с планом подвел, а со спортивным комплексом, помните, проколы были? А? Помните?

Сидящий слева Степанов закивал:

— Да, Георгий Иванович, был грех, конечно, сами виноваты.

— Вот, сами, вы же руководящий орган, а тут думали, что строители без вас обойдутся и сроки выдержат. Но ведь они же только исполнители, чего им торопиться. А комбинат ваш, он же на весь Союз известен, а пластик нам ого-го как нужен, а в прошлом году 78%... Ну что это? Разве это деловой разговор? Пантелеев приехал ко мне, 78%, ну что скажешь? Неужели — спасибо вам, товарищ Пантелеев, за хорошую организацию районной промышленности, а?

Собравшиеся заулыбались. Георгий Иванович отхлебнул из стакана остывший чай, облизал губы.

— А в этом, просто любо-дорого. Секретарь ваш новый, жаль, что нет его сейчас, приехал весной еще, Пантелеев, тот к осени, в лучшем случае, приезжал, а Горохов - весной. И

по-деловому доложил, понимаешь, и причины все, и все, действительно, по деловому, все рассказал. Строителям цемент из другого района возили. Ну, куда это годится? Пантелеев шесть лет не мог сунуться в Кировский район. Стоит под боком, всего 160 км каких-то, завод сухой штукатурки, а рядом цементный. Ну, куда это годится?

— Да мы, Георгий Иванович, туда в общем-то ездили, — наклонился вперед Воробьев, — но нам тогда сразу отказ дали. Они с Бурковским заводом были связаны, со стройкой, а сейчас развязались — и свободны, поэтому получилось.

— Если бы сверху не нажали, и сейчас бы ничего не дали, — перебил его Девятов, — цемент всем нужен.

— Георгий Иванович, конечно, Пантелеев был виноват, надо было тогда нажать, может, резерв какой был.

— Конечно был, не может быть, чтобы не было, был, был обязательно, — Георгий Иванович допил чай. — В общем, товарищи, давайте гадать не будем, а впредь надо быть профессиональнее. Сами не додумались — трясите замов, советуйтесь с хозяйственниками, с рабочими. И давайте впредь держать марку, как в этом году: как начали, так и держать. Согласны?

— Согласны.

— Согласны, а как же.

— Согласны, Георгий Иванович.

— Будем стараться.

— Постараемся.

— Ну, вот и хорошо, — Георгий Иванович встал. — А с секретарем вашим увидимся, пусть не расстраивается, что я его не предупредил, я ведь проездом. Пусть поправляется. А то что это — ангина в августе, это не дело.

Собравшиеся стали тоже вставать.

— Да он же крепкий, Георгий Иванович, поправится. Это случайно, так как он редко болеет. Жаль, что как раз, когда Вы приехали.

Георгий Иванович, улыбаясь, смотрел на них.

— Ничего, ничего, теперь буду к вам неожиданно ездить. А то Пантелеев, бывало, как в мой кабинет входит, так сразу ясно: каяться в грехах приехал.

Все рассмеялись. Георгий Иванович продолжал:

— А тут проездом заглянул — все хорошо. Вот, значит, секретарь новый. Ну, ладно, товарищи. — Он посмотрел на

часы. — Третий час, засиделись... Вот что, вы сейчас, пожалуйста, расходитесь по своим местам, а я похожу полчаса, посмотрю, как у вас тут.

— Георгий Иванович, так, может, пообедать съездим? — подошел к нему Якушев. — Тут рядом, договорились уже...

— Нет-нет, не хочу, спасибо, не хочу, а вы обедайте, работайте, в общем, занимайтесь своим делом. И пожалуйста, хвостом за мной не ходите. Я сам по этажам пройду. В общем, по местам, товарищи.

Улыбаясь, он вышел через приемную в коридор. Работники райкома вышли следом и, оглядываясь, стали расходиться. Якушев, было, двинулся за ним, но Георгий Иванович погрозил ему пальцем, и тот, улыбнувшись, отстал.

Георгий Иванович двинулся по коридору. Коридор был гулким и прохладным. Пол лепился из светлых каменных плит, стены были спокойного бледно-голубоватого тона. На потолке горели квадратные светильники. Георгий Иванович прошел до конца и поднялся по широкой лестнице на третий этаж. Два встретившихся ему сотрудника громко и приветливо с ним поздоровались. Он ответно приветствовал их.

На третьем этаже стены были бледно-зеленые. Георгий Иванович постоял возле информационного стенда. Поднял и ввинтил в угол листка отвалившуюся кнопку. Из соседней двери вышла женщина:

— Здравствуйте, Георгий Иванович.

— Добрый день.

Женщина пошла по коридору. Георгий Иванович посмотрел на соседнюю дверь. Металлическая табличка висела на светлокоричневой обивке: "Заведующий отделом пропаганды от. пом. Фомин В.И."

Георгий Иванович приоткрыл дверь:

— Можно?

Сидящий за столом Фомин поднял голову, вскочил:

— Пожалуйста, пожалуйста, Георгий Иванович, проходите.

Георгий Иванович вошел, огляделся. Над столом висел портрет Ленина, в углу стояли два массивных сейфа.

— А я вот сижу тут, Георгий Иванович, — улыбаясь, Фомин подошел к нему, — дел что-то всегда летом набегаает.

— Так ведь зимой спячка, — улыбнулся Георгий Иванович.

— Хороший кабинет у вас, уютный.

- Вам нравится?
- Да, небольшой, но уютный. Вас как зовут?
- Владимир Иванович.
- Ну вот, два Иваныча.
- Да, — рассмеялся Фомин, теребя пиджак, — и два зав. отделом. Георгий Иванович усмехнулся, подошел к столу.
- А что, правда, много работы, Владимир Иванович?
- Да хватает, — посерьезнел Фомин, — сейчас конференция работников печати скоро. И газетчики вялые какие-то, с альбомом юбилейным заводским нелады. Не решим никак... Сложности разные... А секретарь болен.
- А что там такое? Это какой альбом?
- Юбилейный. Комбинату нашему 50 в этом году.
- Это цифра, конечно. А я и не знал.
- Ну, и альбом юбилейный планируем. То есть, он уже сделан. Сейчас я вам покажу, — Фомин выдвинул ящик стола, вынул макет альбома и передал.
- Вот, макетик такой. Это нам из Калуги двое ребят сделали. Хорошие художники. На обложке комбинат, а на обороте озеро наше и бор.
- Георгий Иванович листал макет:
- Ага... да... красотища. Ну и что?
- Да вот первому заму не нравится. Скучно, говорит.
- Чего он в этой красоте скучного нашел? Замечательный вид.
- Да и я вот говорю тоже, а он ни в какуюю.
- Степанов, что ли?
- Да. А секретарь болен. Две недели утвердить не можем. И художников задерживаем, и типографию.
- Ну, давайте, я подпишу вам.
- Я бы вам, Георгий Иванович, очень благодарен был. Просто камень бы с плеч сняли.
- Георгий Иванович достал ручку, на обороте обложки написал: "Вид на озеро одобряю" и стремительно расписался.
- Спасибо, вот спасибо, — Фомин взял из его рук буклет, посмотрел и спрятал в стол, — теперь я их этим буклетом всех наповал. Скажу, зав. отделом Обкома озеро одобрил. Пусть волюнку не тянут.
- Так и скажите, — улыбнулся Георгий Иванович и, сощу-

рившись, посмотрел на лежащие возле пресс-папье бумаги. —
А что это такое аккуратненькое?

— Да это июньская директива Обкома.

— А-а-а, о проведении уборочной?

— Да. Вы-то ее, небось, лучше нас знаете.

Георгий Иванович улыбнулся.

— Да-а, пришлось повозиться с ней. Секретарь ваш два раза приезжал, сидели, головы ломали.

Фомин серьезно кивнул.

- Понятно.

— Да, — Георгий Иванович вздохнул, — Владимир Иванович, покой нам только снится. Успокоимся, когда ногами вперед вынесут.

Фомин сочувственно кивал головой, улыбался. Георгий Иванович взял директиву, посмотрел на аккуратную машинопись, полистал и слегка потряхнул, отчего листки встрепенились.

— Ну, а как она вам, Владимир Иванович?

— Директива?

— Да.

— Очень деловая, по-моему. Все четко, ясно. Я с интересом ее читал.

— Ну, значит, не зря возились.

— Нужный документ, что ж и говорить. Не просто канцелярский листок, а по-партийному честный документ.

— Я рад, что вам понравилось. Обычно директивы эти в сейфах пылятся. Владимир Иванович, вы вот что... возьмите эту директиву и положите ее на сейф.

— Наверх?

— Да.

Фомин взял у него пачки листов и осторожно положил на сейф. Георгий Иванович тем временем подошел к столу, выдвинул ящик и вынул макет альбома.

— Хорошо, что вспомнил, — он принялся листать макет, — знаете, Владимир Иванович, что мы сделаем... вот так... пожалуй, вот что. Чтобы не было никаких, вот так.

Он положил раскрытый макет на стол, быстро скинул пиджак, кинул на кресло. Потом медленно влез на стол, встал и выпрямился. Удивленно улыбаясь, Фомин смотрел на него. Георгий Иванович расстегнул брюки, спустил их, спустил трусы и, оглянувшись на макет, сел на корточки. Сцепил сухопа-

лые руки перед собой. Открыв рот, Фомин смотрел на него. Георгий Иванович снова оглянулся назад, неловко переступил согнутыми ногами и замерев, закричал, сосредоточенно глядя мимо Фомина. Бледный Фомин попятился было к двери, но Георгий Иванович проговорил сдавленным голосом: "Вот... сами...". Фомин осторожно подошел к столу, растерянно поднял руки:

— Георгий Иваныч, ну как же... зачем... я не понимаю...

Георгий Иванович громко закричал, бескровные губы его растянулись, глаза приоткрылись. Сторонясь его колена, Фомин обошел стол. Плоский зад Георгия Ивановича нависал над раскрытым макетом. Фомин потянулся к аккуратной книжке, Георгий Иванович повернул к нему злое лицо: "Не трожь, не трожь, ишь, умник". Фомин отошел к стенке. Георгий Иванович выпустил газы. Безволосый зад его качнулся. Между художественными ягодицами показалось коричневое, стало быстро расти и удлиняться. Фомин судорожно слотнул, отогнулся от стены, протянул руки над макетом альбома, заслоняя его от коричневой колбасы. Колбаска оторвалась и упала ему в руки. Вслед за ней вылезла другая, потоньше, посветлее. Фомин также принял ее. Короткий белый член Георгия Ивановича качнулся, из него ударила широкая желтая струя, прерывисто прошла по столу. Георгий Иванович снова выпустил газы. Крича, выдавил третью порцию. Фомин поймал ее. Моча закапала со стола на пол. Георгий Иванович протянул руки, вытащил из стоящей на столе коробочки несколько листов атласной пометочной бумаги, вытер ими зад, швырнул на пол и выпрямился, лоя руками спущенные брюки. Фомин стоял сзади, держа теплый кал на ладонях. Георгий Иванович надел брюки, рассеянно оглянулся на Фомина.

— Ну вот... а что же ты...

Он заправил рубашку, неловко спрыгнул со стола, взял пиджак и, держа его под мышкой, поднял трубку слегка забрызганного мочой телефона:

— Да, слушай, как этому вашему позвонить, ну, заву.. ну, как его...

— Якушеву? — пролепетал Фомин, с трудом разжимая губы.

— Да.

— 327.

Георгий Иванович набрал.

— Это я. Ну что, товарищ Якушев, мне пора. Наверное. Да-да. Нет-нет, я у товарища. У Владимира Ивановича. Да, у него самого. Да, лучше через два, да, можете сразу, прямо сейчас, я выхожу уже. Хорошо, да-да.

Он положил трубку, надел пиджак, еще раз оглянулся на Фомина и вышел, прикрыв за собой дверь. С края стола на пол капали частые капли, лужа мочи неподвижно поблескивала на полированном дереве. В ней оказались записная книжка, мундштук, очки, край макета. Дверь приотворилась, показалась голова Коньковой:

— Володь, это он у тебя был сейчас? Чего ж ты, чудак не позвал?

Фомин быстро повернулся к ней спиной, пряча руки с калом.

— Я занят, нельзя сейчас, нельзя...

— Да погоди. Ты расскажи, о чем говорили-то? Душно-то как у тебя... запах какой-то...

— Нельзя, нельзя ко мне, я занят! — багровея и втягивая голову в плечи, закричал Фомин.

— Ну ладно, ладно, ушла, не ори только.

Конькова скрылась. Фомин посмотрел на закрывшуюся дверь, потом быстро наклонился, сунул, было, руки с калом под стол, но за окном раздался долгий автомобильный гудок. Фомин выпрямился, подбежал к окну. Возле райкомовского подъезда стояла черная "Чайка" и две черные "Волги". По гранитным ступенькам к ним спускался в окружении райкомовских работников Георгий Иванович. Якушев что-то говорил ему, радостно жестикулируя. Георгий Иванович кивал, улыбался. "Чайка" развернулась и, подкатив, остановилась напротив лестницы. Фомин наблюдал, прижавшись лбом к прохладному стеклу. Держащие кал ладони слегка разошлись, одна из коричневых колбасок отвалилась и шлепнулась на носок его ботинка.

ПРОЩАНИЕ

Легкий прозрачный туман на востоке внезапно порозовел, прорезался желтой искрой и через несколько быстро пролетевших минут край солнечного шара показался над кромкой леса.

Константин встал со своего широкого трухлявого пня, низ которого так загадочно светился ночью, и, запахнув пальто, пошел к обрыву.

Птицы, до этого коротко перекликавшиеся, запели громко, словно приветствуя солнечный восход.

Константин подошел к поросшему осокой и кукушкиным льном обрыву, встал на самом краю.

Широкая лента реки, обрамленная темно-зеленой массой камыша, лежала внизу.

Гладь ее была спокойна — ни ряби, ни признаков движения.

Только в зеленоватой глубине еле заметно колебались водоросли, походившие на загадочных существ.

Константин достал портсигар, открыл.

Папироса по-утреннему сухо треснула в его холодных пальцах.

Он закурил.

Дым папиросы показался мягким и некрепким.

Глядя на выбирающееся из леса солнце, Константин улыбнулся, устало потер щеку.

"Все-таки как это невероятно тяжело — уехать из родного места, — с грустью подумал он, — из места, где ты вырос, где каждая тропинка, каждое дерево тебе знакомы... А я-то вчера бахвалился перед Зинаидой и Сергеем Ильичем. Уеду, мол, махну рукой. Дальняя дорога, новые города, новые люди. Чудак..."

Он стяхнул пепел, и крохотный серый цилиндрок полетел вниз, пропал в камышах.

Середина реки всколыхнулась.

Плеснула крупная рыба — раз, другой, третий.

Три расширяющихся круга пересеклись и побежали к берегам.

"Щука, наверно. Ишь, как кувыркнулась, даже хвост сверкнул. Наверно, килограмма четыре будет. Они тут меньше не попадают..."

Он жадно затянулся, вспомнив как в десятилетнем возрасте вытащил свою первую щуку. Это было таким же летним безоблачным утром. На реке никого не было, за долгое время ожидания не клюнула ни одна рыба. Он хотел было уже по совету старого рыбака деда Михея насадить на крючок кусочек тесьмы, на которой висел его медный нательный крестик, но вдруг

поплавок исчез, леска со звоном чиркнула по воде, удилище выгнулось дугой. И началась борьба белобрысого вихрастого паренька с невидимой рыбой. И он вытащил ее — мокрый, дрожащий от волнения — вытащил и бросил на песок, тогда еще не поросший камышом...

Он снова затянулся и медленно выпустил дым через ноздри.

"Да. Как все знакомо. Господи, ведь тридцать семь лет я прожил здесь. Мальчишкой я купался в ней и ловил рыбу, свесив босые ноги с того неприметного мостка. Юношей я любил сидеть здесь, читая книги о дальних странах, бесстрашных путешественниках, о любви. А потом полюбил и сам. Полюбил сильно, безумно, бесповоротно. И здесь в этой березовой роще впервые целовал свою любимую. Целовал в мягкие, взволнованные девичьи губы..."

Выбравшееся из леса солнце рассеяло остатки тумана и ярко сияло, слепя глаза. Ласточки кружились над рекой, стремительно касаясь воды и вновь взмывая.

С Таней они встречались вон там, возле трех сросшихся берез. Встречались по вечерам, когда солнце заходило, оставляя над лесом алую полосу, а из деревни слышалась гармошка. Таня. Милая Таня с русой туго заплетенной косой...

Как любил он ее — стройную, в легком ситцевом платице, с загорелыми тонкими руками, от которых пахло сеном и луговыми цветами.

Он целовал ее, прижимая к гладким молодым березам, стволы которых и вечером были теплыми.

Сначала она слабо отстранялась, а потом обнимала его и целовала — неумело, нежно и смешно.

— Ты похож на сокола, - часто говорила она, улыбаясь и глядя его по щеке.

— На сокола? — усмеялся Константин, — значит я пернатый!

— Не смейся, - перебивала его она, — не смейся...

И добавляла быстрым горячим шепотом:

— Я... я ведь люблю тебя, Костя.

Все это было. Было здесь...

Константин бросил вниз недокуренную папиросу, взялся руками за отвороты пальто и вздохнул полной грудью.

Прохладный утренний воздух пах рекой, дымком и пьянил необычайно.

"Так что же такое — родина? — подумал Константин, глядя на пробуждающийся, залитый солнцем лес, голубое небо и реку, — что мы подразумеваем под этим коротким словом? Страну? Народ? Государство? А может быть — босоное детство с ореховой удочкой и банкой с карасями? Или вот эти березы? Или ту самую девушку с русской косой?"

Он снова вздохнул. Пронизанный светом воздух быстро теплел, ласточки кричали над прозрачной водой.

Стояло яркое летнее утро.

Да, да. Яркое летнее утро.

Стояло, стоит и будет стоять.

И никуда не денется.

Ну и хуй с ним.

Длинный.

Толстый.

Жилисто-дрожащий.

С бледным кольцом смегмы под бордовым венчиком головки.

С фиолетовыми извивами толстой вены.

С багровым шанкром.

С пряным запахом.

ЖЕЛУДЕВАЯ ПАДЬ

Дед осторожно опустился на поваленный дуб, потрогал гладкий, потерявший почти всю кору ствол:

— Вишь, чистый какой...

Сашка подошел, поставил рядом ведро с грибами:

— Что, объел кто?

— Да нет, сама отлупилась, — дед достал кيسет, стал медленно развязывать. — Дубовую кору мало кто ест. Горькая она. И твердая. Заяц яблоню уважает, а лось ольху...

Сашка сел рядом с дедом, сложил ножик и кинул в ведро, на лохматые шляпки груздей.

— Плохое тут место, дедуль. Грибов нет что-то. Сырота. Вот и ореховики одни, да молокане.

Дед развязал кيسет, зачерпнул трубочкой крупно нарезанный табак:

— Сырота она и есть... Вон низина-то какая. От этого и дубы валятся. И желуди на них не держатся...

— Поэтому и Желудевой Падью назвали?

— А как же. Желудевая Падь она и есть. Чуть желуди наклюнулись и опали сразу, не созревши. Сырота...

Он достал спички, примял табак в трубке и закурил.

Сашка зевнул, положил руки на колени:

— Тетя Ната сейчас, небось обедает.

— Ага, — кивнул дед головой. — Погодь, поспеем. Дай покурю малость. Тут идти-то версты полторы, не боле...

Он медленно потягивал трубку.

Ветра не было и голубоватый дым волнисто расплывался возле его морщинистого лица с большим горбатым носом и гладкими белыми усами.

Сашка смотрел как проступает в трубке сквозь табак оранжевый огонек:

— Дедуль, а почему ты тут сидеть любишь? Тут же грибов совсем нет и сыро.

Дед усмехнулся:

— Да так.. памятное местечко...

— Как, памятное?

— Тут мой друг погиб. Крестного сын. Вася.

— Ты что-то не рассказывал.

Дед молча кивнул головой и продолжал курить.

Желудевая Падь лежала перед ними.

Толстые, тесно стоящие дубы кое-где переплелись корявыми ветвями, широкие стволы утопали в узорчатых листьях папоротника.

Лучи вечернего солнца, пробившиеся сквозь листву, играли на дубовой коре.

Дед выпустил дым сквозь усы, потрогал висок:

— Да... давно это было..

— В войну?

— В войну. В ее самую. Тут у нас немцы стояли, а мы с отрядом были верст семьдесят отсюда.

— Возле Черногатино?

— Да. А Вася из Малых Желтоух был. Выросли вместе, вместе в отряд ушли. Ну и невеста была у него. Не в Желтоухах, а у нас, на Слободке.

— Она жива щас?

— Нет. Лет семь тому померла. И его нет.

— А ты, дедуль, знаешь как он погиб?

Дед снова усмехнулся:

— Да я ж видал все. Прямо на моих глазах.

— Правда?

— Правда, Саш, правда.

Дед раскурил погасшую трубку, вздохнул:

— В сентябре было. Мы тогда думали в Белоруссию идти, фронт там был. А у нас уж ни оружия, ни припасов не было. Ждать-то не откуда. Что было — потратили. Так по лесам и отсиживались. Короткие вылазки делали. Ну и командир решил идти прорваться к нашим, чтоб зимой не околеть в лесу.

— Дедуль, а в деревнях вы не могли зимовать?

— В деревнях-то немцы, голова! Это ж все немчурой занято было. Вот. Ну и Васька, а он хороший разведчик был, на хорошем счету, упросил, стало быть, командира отпустить его за хлебом. А за одно и с невестой проститься. Ну и пошли мы. С подводой, тихохонько пошли. Шли ночь, день спали в кустах. Потом опять ночью. И вот, только утро начинается, а мы впятером входим в Желудевую Падь.

Дед сощурился, пососал трубку:

— Солнце тогда еще токмо-токмо встало, туман еще, мгла вокруг дубов. Кобылка наша плохонькая, ребра светятся. У телеги колеса ветошью обмотаны, чтоб не гремели. Идем, стало быть. Васька лошадь ведет, Сережка Осадчий сзади, Петька Бирюленок с Женькой на телеге, а я справа так-то во... — дед встал, выпрямился с трубкой в зубах. — На грудях у меня автомат немецкий, две гранаты за поясом, френч, с офицера снятый. И вот, стало быть, только мы входим, значит, как...

Он вздрогнул, вынул изо рта дымящуюся трубку и громко заблеял высоким слабым голосом:

— Ммееееее..

Впалый рот его широко открылся, обнажив редкие сточившиеся зубы, глаза закрылись, седая голова откинулась назад:

— Ммееееее...

Сашка недоумевающе уставился на него.

Дед вытянул перед собой руку с трубкой, качнулся и пошел по папоротникам, бляя и трясясь.

— Дедуль... дедуль... — прошептал бледный Сашка, при-вставая.

Дед шел к дубам, высоко поднимая колени.
Дрожащий голос его эхом разносился по Желудевой Пади.

СВОБОДНЫЙ УРОК

Черныш догнал хохочущего Геру у раздевалки, схватил за ворот и поволок назад:

— Пошли... пошли... не рыпайся.. ща все ребятам расскажу...

Геру, не переставая смеяться, вцепился в деревянный барьерчик:

— Караул! Грааабят!

Его пронзительный голос разнесся по пустому школьному коридору.

— Пошли... — шипел Черныш, срывая с барьера испачканные в чернилах руки Геры. — Ща Сашку позову... стырил и рад...

— Ка-ра-ул!

Геру запрокинулся, тюкнул затылком Черныша по подбородку и захохотал.

— Во, гад... — Черныш оторвал его от раздевалки и поволок. Темно-синий форменный пиджак полез Гере на голову, ботинки заскребли по кафелю:

— Ладно, хватит, Черный... хорош... слышишь...

— Не рыпайся...

Сзади послышались звонкие шаги.

— Чернышев! — раздалось по коридору.

Черныш остановился.

— Что это такое? — Зинаида Михайловна быстро подошла, оттянула его за плечо от Геры. — Что это?! Я тебя спрашиваю!

Отпущенный Гера поднялся, одернул пиджак.

Чернышев шмыгнул носом, посмотрел в стену.

Геру тоже посмотрел туда.

— Почему вы не на занятиях? — Зинаида Михайловна сцепила руки на животе.

— А у нас это... Зинаид Михална... ну, отпустили... свободный урок...

— У кого это? У пятого Б?

— Да.

— А что такое? Почему свободный урок?

— Светлана Николаевна заболела.

— Ааа... да. Ну и что? Можно теперь на головах ходить? Герасименко! Что это такое? Почему вы орете на всю школу?

Гера смотрел в стену.

— Нам Татьяна Борисовна задачи задала и ушла.

— Ну и что? Почему же вы носитесь по школе? А?

— А мы решили, Зинаид Михална...

— А домашние уроки? У вас нет их? Нет? Где вы находитесь?

Ребята молчали.

Зинаида Михайловна вздохнула, взяла Чернышева за плечо:

— Герасименко, иди в класс. Чернышев, пошли со мной...

— Ну, Зинаид Михална...

— Пошли, пошли! Герасименко, скажи, чтоб не шумели. Я скоро зайду к вам.

Гера побежал прочь.

Завуч с Чернышевым пошли в противоположную сторону.

— Идем, Чернышев. Ты, я вижу, совсем обнаглел. Вчера с Большой, сегодня Герасименко по полу возит...

— Зинаид Михална, ну я не буду больше...

— Иди, иди. Не упирайся. Вчера Большова плакала в учительской! А, кстати, почему ты не зашел ко мне вчера после уроков? А? Я же просила тебя?

— Ну, я зашел, Зинаид Михална, а вас не было.

— Не было? Ты и врешь еще нагло. Молодец.

Зинаида Михайловна подошла к своему кабинету, распахнула дверь:

— Заходи.

Чернышев медленно вошел.

Зинаида Михайловна вошла следом, прикрыла дверь:

— Вот. Даже здесь я слышала, как вы кричали. По всей школе крик стоял.

Она бросила ключи на стол, села, кивнула Чернышеву:

— Иди сюда.

Он медленно побрел к столу и стал напротив.

Зинаида Михайловна сняла очки, потерла переносицу и устало посмотрела на него:

— Что мне с тобой делать, Чернышев?

Чернышев молчал, опустив голову.

Мягкий пионерский галстук съехал ему на плечо.

— Тебя как зовут?

— Сережа.

— Сережа. Ты в пятом сейчас. Через каких-то два года — восьмой... А там куда? С таким поведением, ты думаешь, мы тебя в девятый переведем? У тебя что по поведению?

— Тройка...

— А по алгебре?

— Четыре.

— Слава богу... а по литературе?

— Тройка.

— А по русскому?

— Три...

— Ну вот. Ты в ПТУ нацелился, что ли? Чего молчишь?

Чернышев шмыгнул носом:

— Нет. Я учиться дальше хочу.

— Не видно по тебе. Да и мы тебя с такими оценками не допустим. С поведением таким.

— Зинаид Михална, но у меня по геометрии пять и по рисованию...

Зинаида Михайловна уложила очки в футляр:

— Поправь галстук.

Чернышев нащупал узел, сдвинул его на место.

— Кто у тебя родители?

— Папа инженер. А мама продавец. В универмаге "Москва"...

— Ну? Так в чем же дело? Ты что, решил с Куликова пример брать? Но он-то в детдоме воспитывался, а у тебя и папа и мама. Ему подсказать некому, а тебе-то? Неужели родителям все равно, как ты учишься?

— Нет, не все равно...

— Отец дневник твой смотрит?

— Смотрит.

— Ну и что?

— Ругает...

— А ты?

— Ну... я не буду больше так себя вести, Зинаид Михална...

— Ну что ты заладил, как попугай! Ты же пионер, взрослый человек! Дело не в том, будешь ты или не будешь, а в том, что из тебя получится! Понимаешь?

— Понимаю... я исправлюсь...

Зинаида Михайловна вздохнула:

— Не верю я тебе, Чернышев.

— Честное слово...

— Да, эти честные слова твои... — усмехнувшись, она встала, подошла к окну, зябко повела полными плечами. — Что у тебя вчера с Большойвой вышло?

Чернышев замялся:

— Ну... я просто...

— Что, просто? Просто обидел девочку? Так просто — взял и обидел!

— Да я не хотел... просто мы догоняли друг друга... — играли...

— Игра, Чернышев, слезами не кончается...

— Но я не хотел, чтоб она плакала.

— Поэтому ты ей юбку задирали?

— Да я не задирали... просто...

Зинаида Михайловна подошла к нему:

— Ну, зачем ты это сделал?

— Ну она щипала меня, Зинаид Михална, по спине била..

— А ты юбку задрал? Ты, пионер, задрал юбку?! Чернышев?

Если бы уличный хулиган вроде Куликова задрал бы, я б не удивилась. Но — ты?! Ты же в прошлом году на городскую олимпиаду по геометрии ездил! И ты — юбку задирали?

— Но я один раз...

— Но зачем? Зачем?

— Не знаю...

— Но цель-то, цель-то какова? Ты что, хотел посмотреть что под ней?

— Да нет...

— Ну а зачем тогда задирали?

— Не знаю...

— Сказка про белого бычка! Зачем же задирали? Что, нет смелости признаться? Будущий комсомолец!

— Но я просто...

— Просто хотел посмотреть, что под юбкой? Ну-ка по-честному! А?!

— Да...

Зинаида Михайловна засмеялась:

— Какой ты глупый... Что у тебя под штанами?

— Ну, трусы...

— У девочек — тоже трусы. А ты что думал — свитер? Ты разве не знаешь, что девочки тоже носят трусы?

— Знаю... знал...

— А если знал, зачем же задирали?

— Ну, она ущипнула меня...

— Но ты же только что говорил мне, что хотел посмотреть, что под юбкой!

Чернышев молчал.

Зинаида Михайловна покачала головой:

— Чернышев, Чернышев... Зачем же ты врешь мне. Не стыдно?

— Я не вру, Зинаид Михална.

— Врешь! Врешь! — она наклонилась к нему. — Неужели правду так тяжело сказать? Врешь! Тебя не трусы интересовали и не юбка! А то, что под трусами!

Чернышев еще ниже опустил голову.

Зинаида Михайловна слегка тряхнула его за плечи:

— Вот, вот, что тебя интересовало!

— Нет... нет... — бормотал Чернышев.

— И стыдно не это, не это. Это, как раз, естественно... Стыдно, что ты не можешь сказать мне правду! Вот что стыдно!

— Да я могу... могу...

— Нет, не можешь!

— Могу...

— Тогда скажи сам.

Зинаида Михайловна села за стол, подперла подбородок рукой.

Чернышев шмыгнул носом, поскреб щеку:

— Ну я...

— Без ну!

— Ну... меня интересовало... просто так интересовало...

Зинаида Михайловна понимающе покачала головой:

— Сколько тебе лет, Чернышев?

— Двенадцать.

— Двенадцать... Взрослый человек. У тебя сестра есть?

— Нет.

Зинаида Михайловна повертела в руках карандаш:

— Нет... Слушай! А на прошлой неделе ты дрался с Ниной Зацепиной! Ты тоже хотел посмотреть, что у нее под трусами?!

— Да нет, нет... это я... там совсем другое было...

— Ну-ка, посмотри мне в глаза. Сейчас хоть не ври.

Чернышев опустил голову.

— Ведь тоже хотел посмотреть. Правда? А?

Он кивнул.

Зинаида Михайловна улыбнулась:

— Чернышев, ты только не думай, что я над тобой смеюсь, или собираюсь наказывать за это. Это совсем другое дело. Тебе двенадцать лет. Самый любопытный возраст. Все хочется узнать, все увидеть. Я же помню, я тоже была когда-то двенадцатилетней. Или ты думаешь, завуч так и родился завучем? Была, была девчонкой. Но у меня был брат Володя. Старший брат. И когда пришла пора, он мне все показал. Чем мальчик отличается от девочки. И я ему показала. Вот. Так просто. И никому не потребовалось юбки задрать. А выросли нормальными людьми. Он летчик гражданской авиации, я завуч школы. Вот.

Чернышев исподлобья посмотрел на нее.

Зинаида Михайловна продолжала улыбаться:

— Как видишь, все очень просто. Правда, просто?

— Ага...

— Ну, у тебя есть какая-нибудь родственница твоего возраста?

— Нет. У меня брат двоюродный есть... а сестер нет...

— Ну, а подруга, настоящая подруга есть у тебя? Подруга в лучшем смысле, друг настоящий? Которой можно доверить все?

— Нет. Нет...

Зинаида Михайловна отложила карандаш в сторону, почесала висок:

— Жалкое вы поколение. Ни сестер, ни подруг... В восемнадцать опомнятся, наделают глупостей...

С минуту помолчав, она встала, подошла к двери, заперла ее двумя поворотами ключа. Потом, быстро пройдя мимо Чернышева, задернула шторы на окне:

— Запомни, Чернышев, заруби себе на носу: никогда не старайся узнать что-то нечестным путем. Это знание тебя только испортит. Иди сюда.

Чернышев повернулся к ней.

Она отошла от окна, подняла свою коричневую юбку, и придерживая ее подбородком, стала спускать колготки, сквозь которые просвечивали голубые трусики.

Чернышев вобрал голову в плечи и попятился.

Зинаида Михайловна стянула колготки, сунула обе ладони в трусы и, помогая задом, спустила их до колен.

Чернышев отвернулся.

— Стой! Стой же, дурак! — придерживая юбку, она схватила его за руку, повернула к себе. — Не смей отворачиваться! Для тебя же стараюсь, балбес! Смотри!

Она развела полные колени, потянула за руку Чернышева:

— Смотри! Кому говорю! Чернышев!

Чернышев посмотрел и снова отвернулся.

— Смотри! Смотри! Смотри!

Она надвигалась на него, растопырив ноги.

Губы Чернышева искривились, он захныкал.

— Смотри! Ты же хотел посмотреть! Вот... вот...

Она выше подняла юбку.

Чернышев плакал, уткнув лицо в рукав.

— Ну, что ты реवेशь, Чернышев. Прекрати! Замолчи сейчас же. Ну, что ты испугался? Замолчи... да замолчи ты...

Она потянула его к стоящим вдоль стены стульям:

— Садись. Садись и успокойся.

Чернышев опустился на стул и зарыдал, зажав лицо руками.

Зинаида Михайловна быстро опустила юбку и села рядом:

— Ну, что с тобой, Чернышев? Что с тобой? Сережа?

Она обняла его за плечи.

— Хватит. Слышишь? Ну, что ты — девочка? Первоклашка?

Чернышев продолжал плакать.

— Как не стыдно! Ну, хватит, наконец. Ты же сам хотел этого. А ну-ка, замолчи! Так распускаться! Замолчи!

Она тряхнула его.

Чернышев схлипнул и смолк, съжившись.

— Ну вот... вытри слезы... разве можно реветь так... эх ты...

Всклипывая, Чернышев потер кулаком глаза.

Зинаида Михайловна погладила его по голове, зашептала:

— Ну, что ты? Чего ты испугался? А? Ответь. Ну-ка ответь!

А? Ответь.

— Не знаю..

— Ты что, думаешь я расскажу всем? Глупый. Я же специально окно зашторила. Обещаю тебе, честное слово. Я никому не расскажу. Понимаешь? Никому. Ты веришь мне? Веришь?

— Верю...

- Чего ж испугался?
- Не знаю...
- И сейчас боишься? Неужели боишься?
- Не боюсь... — всхлипнул Чернышев.
- Зинаида Михайловна зашептала ему на ухо:
- Ну, честное партийное, никому не скажу! Честное партийное! Ты знаешь что это такое — честное партийное!
- Ну... знаю...
- Ты мне веришь? А? Говори. Веришь? Я же для тебя стараюсь, глупый. Потом спасибо скажешь. Веришь, говори?
- Ну... верю...
- Не — ну, верю! А — верю, Зинаида Михайловна.
- Верю, Зинаида Михайловна.
- Не будешь реветь больше?
- Не буду.
- Обещаешь?
- Обещаю.
- Дай честное пионерское, что не будешь реветь и никому не скажешь!
- Честное пионерское.
- Что, честное пионерское?
- Не буду реветь и никому не скажу...
- Ну вот. Ты наверное думал, что я смеюсь над тобой... думал, говори? Думал? Ведь думал, оболтус, а? — тихо засмеялась она, качнув его за плечи.
- Немного... — пробормотал Чернышев и улыбнулся.
- Глупый ты, Чернышев. Тебе что, действительно ни одна девочка это место не показывала?
- Неа... ни одна...
- И ты не попросил ни разу по-хорошему? Посмотреть?
- Неа...
- А хотел бы посмотреть? Честно скажи — хотел бы?
- Чернышев пожал плечами:
- Не знаю...
- Не ври! Мы же на чистоту говорим! Хотел бы? По-пионерски! Честно! Хотел бы?!
- Ну... хотел...
- Она медленно приподняла юбку, развела пухлые ноги:
- Тогда смотри... смотри, не отворачивайся...

Чернышев посмотрел исподлобья.

Она поправила сползшие на сапоги колготки и трусы, шире развела колени:

— Смотри. Наклонись поближе и смотри...

Шмыгнув носом, Чернышев наклонился.

— Ну, видишь?

— Вижу..

— А что же сначала испугался? А?

— Не знаю... Зинаид Михална... может не надо...

— Как тебе не стыдно! О чем ты только что говорил? Смотри лучше!

Чернышев молча смотрел.

— Тебе видно хорошо? — наклонилась она к нему. — А то я встану вот так...

Она встала перед ним.

Чернышев смотрел в ее густо поросший черными волосами пах. Над ним нависал гладкий живот с большим пупком посередине. На животе ясно проступал след от резинки.

— Если хочешь, можешь потрогать... потрогай, если хочешь... не бойся...

Зинаида Михайловна взяла его еще влажную от слез руку, положила на лобок:

— Потрогай сам... ну... потрогай...

Чернышев потрогал мохнатый холмик.

— Ведь нет же ничего странного, правда? — улыбнулась покрасневшая Зинаида Михайловна. — Нет? А? Нет, я тебя спрашиваю?

Голова ее покачивалась, накрашенные губы нервно подрагивали.

— Нет.

— Тогда потрогай еще.

Чернышев поднял руку и снова потрогал.

— Ну, потрогай еще. Вниз. Вниз потрогай. Не бойся...

Она шире развела дрожащие ноги.

Чернышев потрогал ее набухшие половые губы.

— Потрогай еще... еще... что ты боишься... ты же не девочка... пионер все-таки...

Чернышев водил ладонью по ее гениталиям.

— Можно сзади потрогать... там ближе даже... смотри...

Она повернулась к нему задом, выше подняла юбку.

— Потрогай сзади... ну, потрогай...

Чернышев просунул руку между нависающими ягодицами и снова наткнулся на влажные гениталии.

— Ну вот... потрогай... потрогай побольше... теперь снова спереди потрогай...

Чернышев потрогал спереди.

— Теперь снова сзади... вот так... потрогай сильнее... смелее, что ты боишься... там есть дырочка... найди ее пальцем... нет, ниже... вот. Просунь туда... вот...

Чернышев просунул палец во влагалище.

— Вот. Нашел... видишь... дырочка... — шептала Зинаида Михайловна, сильнее оттопыривая зад и глядя в потолок. — Нет... побудь еще там... вот... встань... что ты сидя.

Чернышев встал.

— Одной рукой сзади пощупай, а другой спереди... вот так...

Он стал трогать обеими руками.

— Вот так. А хочешь и я у тебя потрогаю? Хочешь?

— Не знаю... может не надо...

— А я знаю, что хочешь... я потрогаю только... ты же у меня трогаешь... мне тоже интересно...

Она нащупала его ширинку, расстегнула и пошарила рукой:

— Вот... вот... видишь... у тебя маленький такой... и когда ты подрастешь... то есть когда он вырастет... вот... то ты уже... потрогай еще, не бойся... вот... и ты можешь в дырочку войти... вот... а сейчас еще рано... зачем ты руку убрал... еще потрогай...

Зазвенел звонок.

— Ну хватит... — она выпрямилась, быстро подтянула трусы с колготками, поправила юбку. — Хватит... ну, ты никому не скажешь? Точно?

— Нет, не скажу...

— Честное пионерское?

— Честное пионерское.

— Ведь это наша тайна, правда?

— Ага.

— И ребятам не скажешь?

— Не скажу.

— И маме?

— И маме.

— Поклянись. Подними руку и скажи — честное пионерское.

Чернышев поднял надо лбом липкую ладонь:

— Честное пионерское.

Зинаида Михайловна повернулась к висящему над столом портрету Ленина:

— Честное партийное...

Звонок снова зазвенел.

— Это что, на перемену или на урок? — пробормотала завуч, трогая ладонью свою пылающую щеку.

— На перемену... — подсказал Чернышев.

Зинаида Михайловна подошла к окну, отдернула шторы, потом повернулась к Чернышеву:

— Я не очень красная?

— Да нет...

— Нет? Ну, беги, тогда. И постарайся больше не хулиганить...

Она стала отпирать дверь:

— Беги... стой! Ширинку застегни.

Отвернувшись, он застегнул ширинку.

— У вас что щас?

- Природоведение...

— В восемнадцатой?

— Да, наверху там...

— Ну иди.

Она распахнула дверь.

Чернышев шагнул за порог и побежал прочь.

ГЕОЛОГИ

В черной от копоти, выдавшей вида печурке звонко потрескивали дрова, из полуприкрытой чугунной дверцы полыхало пламя, бросая янтарные отблески на лица геологов.

Соловьев в последний раз затянулся папиросой и сунул окурок в оранжевую щель.

Сидящий рядом на низеньком кедровом стульчаке Алексеев поигрывал широким охотничьим ножом, монотонно втыкая его в сучковатое полено.

Соловьев вздохнул и встал, едва не коснувшись вихрастой головой прокопченного потолка зимовья:

— Нет, ребята. Решать надо сегодня.

Авдеенко молча кивнул, Алексеев неопределенно пожал плечами, продолжая втыкать нож, а сидящий у заиндеветшего окошка Иван Тимофеевич все так же неторопливо попыхивал своей желтой костяной трубкой.

— Саша, ну что ты молчишь? — повернулся Соловьев к Алексееву.

— Я уже все сказал, — тихо и внятно проговорил Алексеев. Его широкое бородатое лицо, высвеченное оранжевыми всполохами, казалось невозмутимым.

— Но ведь твое предложение по крайней мере нелепо! — потряхнул головой Соловьев. — Что же — бросить друзей в лавиноопасной зоне, а самим сматывать удочки?!

Широкий нож с силой воткнулся в полено:

— А по-твоему, значит, стоит пустить псу под хвост год тяжелейшей работы?

— Но люди-то дороже образцов, Саша! — неловко всплеснул руками Соловьев.

— Конечно, — согласился Авдеенко, глядя на Алексеева.

Тот раздраженно ударил ручкой ножа по полену:

— Ну, что вы как дети! Давно они уже в Усть-Северном, ваши Сидоров с Коршевским! Давно! Голову даю на отсечение — сидят сейчас и чай гоняют! И никакая лавина им не грозит!

— Но рация, Саша, рация-то говорит другое! — перебил его Соловьев. — Какие чай, если ребят нет в Усть-Северном?

— Нет, значит, через день-другой будут там, — уверенно отрезал Алексеев.

— А если они не пошли в Усть-Северный? — спросил Авдеенко, наклоняясь вперед и осторожно снимая с печурки кружку с дымящимся чаем.

— Придут, — с той же уверенностью проговорил Алексеев, на шаривая в карманах широких ватных брюк папиросы, — про лавину они знают — раз, вертолет наверняка видели — два, геологи опытные — три. А потом, друзья мои, вы что, думаете, они на отвалах возьмут что-нибудь? При таком буране? Они там пару суток проторчат, не больше. И в Усть-Северный двинутся...

Он сунул в печку сухую кедровую веточку, вынул и прикурив от охватившего ее пламени.

— Ты так рассуждаешь, будто все уже известно наперед, — грустно усмехнулся Авдеенко. — Но ведь в Усть-Северный они собирались только не следующей неделе. По плану-то так.

— Николай, ну что ты говоришь? Что они — пацаны, что ли? У Коршевского десятилетний стаж, он эти места знает как свои пять! Неужели, по-твоему, они настолько глупы, чтобы по вертолетам и стрельбе не догадаться о лавине? Да и продукты у них на исходе. Значит, пойдут в Усть-Северный. Я точно говорю вам, пойдут! А вы вот с Петром — настоящие паникеры. Рассуждаете, как младенцы, — бросить все, бросить образцы и идти искать! Где искать? Вдоль хребта? У Желтой Каменки? А может к западному ущелью податься? Вы же сами ничего толком не знаете. Бросить образцы, чтоб их лавиной засыпало! Полный абсурд...

— А если не засыплет? — спросил Авдеенко. — Сюда лавина вряд-ли дотянется...

— А если дотянется? Что тогда? — повернул к нему свое широкое лицо Алексеев. — Как мы в глаза Родникову посмотрим?

Они замолчали, сосредоточенно глядя на потрескивающую печурку.

Иван Тимофеевич все так же неторопливо курил. Загорелое скуластое лицо его было хмурым и сосредоточенным. Седые виски выглядывали из-под плотно натянутой вязаной шапки.

Авдеенко покачал головой:

— Да, образцы, это конечно... год собирали...

Вытянув губы, он стал осторожно прихлебывать горячий чай. Соловьев нетерпеливо сунул руки в карманы:

— Саша, давай-ка еще раз свяжемся с Усть-Северным.

Алексеев пожал плечами, встал:

— Пожайлуста.

В углу на грубо сколоченном столе поблескивала алюминиевой панелью новенькая рация.

Подвинув стульчак, Алексеев уверенным движением надел наушники, щелкнул тумблером. На панели засветился красный огонек.

Алексеев быстро заработал ключом.

Потом перестал, поправляя наушники на голове, вслушиваясь в ответную россыпь морзянки.

— Ну вот... — тихо проговорил он, простукивая "отбой". — Не пришли еще. Нет их. А вертолеты завтра утром, как пурга уляжется, опять полетят.

Выключив рацию, он снял наушники, встал:

— В общем, ребята, по-моему, надо собираться, и с утрачка — в путь. Образцы тяжелые — добрые полтонны. Пока дойдем, пока что...

Сидящий возле окошка Иван Тимофеевич вздохнул и выпустил широкую струю дыма.

Все повернулись к нему.

Соловьев осторожно спросил:

— Иван Тимофеевич, ну а вы-то что думаете?

Иван Тимофеевич молча покусывал мундштук трубки.

Алексеев почесал бороду:

— В тупик зашли. Я — одно предложение, они — другое... дилемм...

Авдеев поставил пустую кружку на стол:

— Первый раз такие разногласия. Иван Тимофеевич, вы вот геолог опытный, двадцать пять лет в партиях. Уж вы-то, наверное, знаете, что делать.

— Наверное, поэтому и молчите, — улыбнулся Соловьев.

Иван Тимофеевич ответно улыбнулся:

— Поэтому, Петя, поэтому...

Он приподнялся, выбил трубку о край стола, убрал в карман и облегченно выдохнул:

— Значит так. Как говорил мой земляк Василий Иванович Чапаев, на все, что вы тут наговорили — наплевать и забыть. Давайте-ка на кофейной гуще гадать не будем, а станем рассуждать по-серьезному. Оценивая сложившуюся ситуацию, мне кажется, что надо просто помучмарить фонку.

В наступившей тишине Алексеев качнул головой. По его лицу пробежало выражение восхищения:

— А ведь верно... как я не додумался...

Соловьев растерянно почесал затылок, тихо пробормотал:

— Да я вообще-то... хотел то же самое...

Авдеев одобрительно крикнул, шлепнув себя по коленке:

— Вот, орлы, что значит настоящий профессионал!

Потрепав его по плечу, Иван Тимофеевич вышел на середи-

ну избы, присел на корточки и костяшками пальцев три раза стукнул в оледенелый пол, внятно проговорив:

— Мысль, мысль, мысль, учкарное сопление.

Стоящие вокруг геологи хором повторили:

— Мысль, мысль, мысль, учкарное сопление.

Затем молодые геологи быстро встали рядом, вытянув вперед ладони и образуя из них подобие корытца.

Иван Тимофеевич сделал им знак головой.

Геологи медленно наклонились. Корытце опустилось ниже. Склонившись над ним, Иван Тимофеевич сунул себе два пальца в рот, икнул, содрогаясь.

Его быстро вырвало в корытце из ладоней.

Отдышавшись, он достал платок и, вытерев мокрые губы, проговорил:

— Мысль, мысль, мысль, полокурый вотлок.

Не меняя позы и стараясь не пролить на пол густую, беловато-коричневую массу, геологи внятно повторили:

— Мысль, мысль, мысль, полокурый вотлок.

Иван Тимофеевич улыбнулся и облегченно вздохнул.

В печке слабо потрескивали и с шорохом разваливались прогоревшие поленья.

За маленьким окошком свистела таежная вьюга.

НОЧНЫЕ ГОСТИ

Василий улыбнулся в темноте, поправил подушку:

— Нет, Рай. На поклон к Борисенко мы с Коробкиным не пойдем. Я ему не мальчик, чтобы футболить меня.

— Ну, а что ж вы делать будете? — сонно пробормотала Рая.

— В партком пойдем.

— Ну, зачем так сразу. Испортишь только с Борисенко отношения и все...

— Так что ж я ради этих вот хороших отношений брак гнать буду?!

— Да не кипятись ты, Вась, — повернулась к нему Рая. — Вы же толком не знаете, а в бутылку лезете. Может ОТК тут и ни при чем.

Василий засмеялся:

— Привет. Что ж, весь цех портачит?
— Разобраться нужно, а не спешить.
— Мы уже разобрались.
— Что-то не верится...
— Тебе все не верится. Спи лучше, уменькая...
— Что ты рот-то мне затыкаешь? Я что, по-твоему, совсем дура что ли?!

Василий обнял ее:

— Ну, успокойся. Решим мы все это. А в партком идти все равно придется.

Рая вздохнула, прижимаясь щекой к мужу:

— Смотри. Тебе там инженером работать.

— Таких, как наш Борисенко, надо давно б списать на свалку.

— Как бы он тебя не списал.

— Не спишет. За правду еще никого не списывали. Вот за брак его спишут. Не сегодня, так завтра...

В дверь позвонили,

— Привет родителям! — засмеялся Василий, отбрасывая одеяло.

— Кого это так поздно принесло, — зевнула, садясь на кровать Рая.

Быстро натянув тренировочные брюки, Василий прошел в коридор, зажег свет и отпер дверь.

На пороге стояли двое в демисезонных пальто и с большими плоскими кепками на головах. Тот, что повыше, держал в руке небольшой чемоданчик. Они сдержанно улыбались.

Щурясь от яркого света в коридоре, Василий несколько секунд смотрел на них, потом развел руками, засмеялся:

— Мать честная... Георгий!

Гости заулыбались сильнее, высокий шагнул к Василию, проговорил с сильным акцентом:

— Здравствуй, Васылий, здравствуй, дарагой!

— Господи, Георгий!

Они обнялись, смеясь и тиская друг друга.

— Да проходите же вы! — смеялся Василий. — Рая! Иди скорей! Гога приехал!

За руки он втащил гостей в коридор:

— Откуда? Неужели из Ровно?

— Из Питера, Васылий. Мы праездом. Завтра поезд в дэвять вэчера. Ты извини, дарагой, что так поздно...

— Да что ты, что ты! — замахал руками Василий.

— Пазнакомся, это Шота, — представил высокий своего спутника, аккуратно снимая кепку.

— Очень приятно! Раздевайтесь, будьте как дома! Рая, да где же ты?!

Появилась Рая в красивом новом халате:

— Георгий! Ну ты даешь! Чего ж ты не предупредил, мы бы встретили!

Вместе с Василием они выдвинули письменный стол на середину комнаты.

— Паркет нэ поцарапали? — наклонился Георгий, засучивая рукава.

— Да нет, ничего, — успокаивающе махнул рукой Василий.

Рая постелила на стол клеенку, потом положила чистое полотенце. Георгий разместил на полотенце принесенный из кухни кружок и аккуратно накрыл его вафельным полотенцем. Из кухни вышел Шота. Рукава его белой рубашки были так же засучены, в руке он держал маленький шприц:

— Все гатово.

Рая качнула головой:

— Ой, боюсь я, ребята...

Василий обнял ее за плечи:

— Ну, успокойся, сколько можно.

Шота прижал свободную руку к груди:

— Раечка, я вам клянусь, вы даже глазом нэ маргнете. Садытесь, все будет харашо.

— Садысь, Рая, садысь, нэ бойся.

Василий тем временем задернул зеленоватые шторы.

Рая села за стол, положила левую руку на полотенце.

Георгий засучил рукав ее халата до самого плеча.

Шота откупорил пузырек со спиртом, ловко пропитал ватку, тщательно потер руку чуть ниже локтевого сгиба и сделал три быстрых укола.

— Вот и все.. А теперь в вэну, дарагая...

Он потер ампулу пилочкой, разломил, набрал шприцом:

— Тааак.

Георгий перетянул раину руку у предплечья резиновым жгутом.

Шота легко всадил иглу в проступившую вену, медленно выжал поршень.

— Ой, — улыбнувшись, Рая качнула головой, зажмурилась.

— Ой, лечу... Вась, держи...

Василий обнял ее за плечи.

Шота положил пустой шприц на краешек стола, нагнулся, открыл чемоданчик.

Внутри он был бархатный, черный, с двумя округлыми полостями. Верхняя была пуста, в нижней лежал упакованный в целлофан топор.

Шота распечатал пакет, освободил топор:

— Вот, он стэрильный, савершенно...

Рая, посмеиваясь и прикрыв глаза, покачивалась на стуле:

— Ой, не могу... ха, ха, ха... Вась... ой, лечу... хорошо-то как...

Василий крепче взял ее за плечи; шепнул:

— Сиди спокойно.

Георгий взял безвольную руку Раи, прижал за кисть к столу.

Шота размахнулся, топор сверкнул у него над головой.

— Хах...

Топор стремительно опустился, лезвие отсекло руку, со стуком вошло в стол.

— Ой, не могу... — смеялась Рая. — Ой... держите... ха, ха, ха...

Георгий быстро подхватил обрубок, понес в ванную. Шота схватил высокий пузырек и принялся поливать рану. Кровь быстро сворачивалась серо-розовыми хлопьями.

Он разорвал пакет с бинтом и стал бинтовать:

— Вот и все, вот и сделано...

— А жгут когда? — пролепетал бледный Василий.

— Жгут завтра днем снимете.

— Ага. Ясно.

Рая хохотала, сонно покачиваясь, ее целая рука безвольно болталась, голова клонила на грудь.

— Ее теперь на кровать и пусть спит, — пробормотал Шота, заканчивая перевязку.

Вдвоем они подняли Раю и положили на тахту.

Василий накрыл ее одеялом.

Она слабо рассмеялась.

Из ванной вернулся Георгий, осторожно неся перед собой обмытую руку.

Шота взял ее, упаковал в целлофан и вместе с топором убрал в чемоданчик.

Георгий вынул из кармана небольшой расшитый бисером кисет, протянул Василию.

Василий взял кисет, развязал. Он был набит перепутавшимися золотыми и серебряными цепочками.

— Ага, — Василий завязал его и убрал в карман.

Опуская засученные рукава, Шота проговорил, обращаясь к Василию и показывая головой на спящую Раю:

— В двенадцать дадите таблетку, а в час я приеду и перэвязку здэлаю.

— Ладно, — пробормотал Василий и принялся убирать со стола.

ПЕРВЫЙ СУББОТНИК

— Ну вот, — Саламатин подошел к рассевшейся на плитах бригаде, — Нам ребят, листья сгребать.

Рабочие зашевелились, поднимаясь:

— Во, это по мне...

— Нормально, Егорыч.

— Небось Зинку ублажил, вот и работу полегче дала..

— А где сгребать будем?

Саламатин достал из широких брюк пачку "Беломора":

— От проходной и выше.

— Так там много. С полкилометра.

— А ты как думал... Давайте, мужики, в девятый за граблями. Там и грабли и рукавицы. Или кто-нибудь пусть сходит, что всем перетяся.

— Мы с Серегой сходим, — Ткаченко хлопнул Зигунова по ватному плечу. — Сходим, Серег?

— Сходим, конечно... дай закурить, Егорыч, — Зигунов потянулся к пачке.

Саламатин вытряхнул ему папиросу, сунул в губы свою, смял:

— Значит сходите. Не обсчитайтесь только. Четырнадцать грабель. И рукавиц четырнадцать пар. А вот и новичок бежит... Пятнадцать грабель и пятнадцать пар.

Мишка перелез через штабель труб, побежал по плитам.

— Ты чего опаздываешь? — улыбнулся Саламатин, закуривая. — Идите, ребята, идите...

Мишка пробежал к нему, громко выдохнул:

— Фууу... запыхался... доброе утром... Вадим Егорыч...

— Доброе утром. Что, будильник подвел?

— Да нет, поезд пропустил свой... фууу... сильно опоздал?

— Нет. Ничего.

— Доброе утро! — Мишка повернулся к рабочим.

— Здорово.

— Доброе утро...

- Чего опаздываешь?
- Перезанимался вчера, небось, заочник?
- Егорыч, ну мы пошли, чего тут толкаться..
- Идите. Я догоню шас... — махнул рукой Саламатин. —

Застегни куртку, не лето все-таки.

Часто дышащий Мишка стал застегивать молнию.

Саламатин отодвинул рукав ватника, посмотрел на часы:

— Четверть девятого. Все не начнем никак.

— А что делать будем?

— Листья сгрести. С газонов у проходной.

— На свежем воздухе... хорошо...

— Конечно... так... Прохорова нет... ну, ладно. Ждать больше не будем... пошли, Миш.

Они зашагали к проходной, вслед за бригадой.

Саламатин зевнул, выпустил дым:

— А ты что так оделся чисто? Прямо, как на парад.

Мишка пожал плечами:

— Ну, а что. Ничего особенного.

— Но куртку-то зачем пачкать? Хорошая куртка.

— Обыкновенная.

Бригадир засмеялся, обнажив крупные прокуренные зубы:

— Да... вот что значит — новое поколение. Я б такую куртку на выходной берег...

Подошли к проходной.

Одетый в черную форму вахтер запирает ворота.

— Семеныч, выпусти нас! — весело крикнул Саламатин.

— Идите через вертушку. Я уж запираю за вами устал. Шас только твои проползли.

— Егорыч! - раздалось сзади. — Помоги!

Мишка и бригадир обернулись.

Ткаченко с Зигуновым несли грабли и рукавицы.

— А вы что, пупы надорвали? — шагнул к ним бригадир.

Мишка подошел к Зигунову, тот сунул ему стопку рукавиц.

Саламатин протянул руку к граблям, распустившимся веером на плече Ткаченко, но тот уклонился:

— Да шучу, Егорыч. Чего тут нести.

— Все хорошие? Ломаных нет?

— Нет, нет..

— Ну, иди вперед.

Бригадир пропустил Ткаченко.

По очереди прошли через поскрипывающую вертушку.

На улице ждала бригада.

— Во, Сашок самые новенькие выбрал...

— Семейный, сразу сообразил.

Ткаченко снял грабли с плеч:

— Разбирайте...

Мишка стал раздавать рукавицы.

Творогов постучал граблями по асфальту:

— Нормально... Такими и целину пахать можно...

— Откуда начинать, Егорыч?

Саламатин огляделся, махнул рукой на левый газон:

— Вот наш.

— А правый?

— А тут насосники будут убирать.

— Ясно...

Усеянный опавшей листвой газон тянулся вдоль каменной заводской ограды... вместе с неровным рядом невысоких тополей. Их длинные, потерявшие почти всю листву ветки, слегка шевелились. Разобравши грабли и надев рукавицы, рабочие двинулись к газону. Саламатин разорвал нитку, скрепляющую новенькую пару рукавиц. Мишка постучал древком грабель по асфальту, насаживая их потуже:

— Гвоздика нет.

— Что? Какого? — повернулся к нему бригадир.

— Да тут вот... крепить где грабли...

— Ну и ничего страшного... дай-ка, — бригадир взял у него грабли, потрогал. — Насажены нормально. И без гвоздя сидят крепко. Грабь только полегче и не отвалятся... пошли...

Они двинулись за бригадой.

Мишка улыбнулся, положил грабли на плечо:

— Да... первый субботник...

— Как первый?

— Да так. Первый субботник мой.

— Серьезно? — удивленно посмотрел на него Саламатин.

— Ага. Ну, не первый, конечно... в школе были субботники...

— Ну, так это другое дело. В школе ты учеником был, а тут — пролетарий. Значит, действительно — первый! Здорово!

Саламатин засмеялся, крикнул шагающим впереди рабочим:

— Слышь, ребят! У Мишки сегодня первый субботник! Как-ково?

— Поздравляем.

— Бутылка с тебя, Миш!

— Нормально..

— Ты тогда сегодня должен по-ударному работать, за всех.

— Чудеса... первый субботник у человека. Я и забыл, когда у меня был...

Саламатин положил руку Мишке на плечо:

— Да... вообще-то это событие. Надо было б как-нибудь через профком поздравить тебя...

— Да что вы, Вадим Егорыч...

— Надо было. Что ж ты раньше не сказал? Так, мол, и так... первый субботник... Эй, ребят! — крикнул он рабочим. — Начинайте отсюда! Прямо в кучи сгребайте к кромке и порядок...

Рабочие разошлись по газону, стали сгребать листья.

Саламатин сощурился на заходящее солнце, поправил выбившийся из-под ватника шарф:

— А я вот помню свой первый субботник...

— Правда?

— Помню. Только война началась. Как раз сорок первый год. Июль. А я в апреле на завод устроился. Тоже такой же был, как ты. Только помоложе. И заочно, конечно, не учился. Не до учебы было. И вот субботник решили провести. В фонд помощи фронту. Вышли всем заводом после смены. А смена-то была — двенадцать часов! Не то что сейчас. И работали по-другому совсем. С сознанием. Все понимали. Самоотверженно работали, вот... и как работали... разве сравнишь с теперешними работничками...

Он вздохнул и побрел к бригаде.

Мишка заспешил следом.

Бригадир встал рядом с Зигуновым, нагнулся и поднял ржавую консервную банку:

— Вот. Это вот свинство наше. Выпили, закусили и бросили. Так вот и живем... а потом удивляемся, мол, пойти отдохнуть некуда, вся природа загажена...

Он кинул банку на кучу листвы.

Мишка принялся грести от кромки газона.

Бригада работала молча.

Зигунов вдруг распрямился, улыбнулся, потряхнул головой:

— Ой... что-то... щас вот...

Он оттопырил обтянутый синими брюками зад и громко выпустил газы.

Сотсков выпрямился, удивленно посмотрел на него и сделал то же самое, но только слабее и короче.

Ткаченко наставил на Сотскова тонкий палец:

— Артиллерия... пли...

И лаконично пукнул.

Салазкин и Мамонтов оперлись на грабли и выпустили газы почти одновременно.

Творогов наклонился сильнее, лицо его напряглось:

— Оп-ля... оп-ля... оп-ля...

Он слабо пукнул три раза.

Сохненко поднял обутую в резиновый сапог ногу:

— Ну-ка... по изменникам Родины...

Но пукнул слабо.

Саламатин удивленно качнул головой:

— Еп твою... ни хуя себе... это что ж такое? Что, все сразу?

В честь чего это?

Зигунов пожал плечами:

— Как, в честь чего? В честь первого субботника нашего товарища был произведен артиллерийский салют из орудий среднего калибра. Теперь за тобой очередь, Егорыч...

Улыбаясь, рабочие смотрели на него:

— Давай, ветеран, по-ударному...

— И ты, Миш, не отставай.

— Давай, чего стоишь. Не отрывайся от коллектива.

— Честь бригадирскую не роняй, орденосец...

— Давай, давай, Егорыч... все ведь на тебя равняются...

Саламатин почесал висок, замялся:

— Ну, раз такое дело..

Он слегка нагнулся, закрихтел.

Мишка тоже напрягся, посмотрел под ноги и пукнул первым, но — слабо, еле слышно.

— Ну, Михаил, слабовато...

— Ничего, у него юбилей сегодня... простительно...

Все посмотрели на замершего бригадира и замолчали. Его широкое коричневое лицо, побронзовевшее от лучей заходящего солнца, было обращено вдаль, руки вцепились в колени.

Полные губы бригадира сжались, под бронзовой кожей на скулах заходили желваки, седые брови сдвинулись.

Он еле слышно застонал, наклонил голову.

Затаив дыхание, бригада смотрела на него.

Раздался громкий хлопок и сочный раскатистый треск.

Рабочие молча зааплодировали.

Саламатин снял кепку и поклонился.

ПОМИНАЛЬНОЕ СЛОВО

Сережа с Олей успели как раз во-время, — человек тридцать родственников, друзей и сослуживцев Николая Федоровича стояли в начале главной аллеи кладбища, ожидая автобуса.

Дождь только что перестал, кругом было мокро.

Еще издали, проходя через грязно-желтые каменные ворота, Сережа заметил Ермилова, стоявшего с краю толпы в окружении родных. Маленькая Машенька неподвижно прижалась к его ногам, держась за руку. Софья Алексеевна стояла в обнимку с другой дочерью — пятнадцатилетней Катей.

Пройдя небольшую площадь, усыпанную окурками и прочим мусором, Оля с Сережей подошли к толпе.

Оля первая приблизилась к Ермилову, дважды поцеловала в бледные ввалившиеся щеки, прошептав:

— Господи...

Сережа, опустив книзу хрустящий целлофаном букет белых гладиолусов, подошел к Софье Алексеевне, неловко пожал ее безвольную худую руку, поцеловал; Илья Федорович сам шагнул к нему, обнял, тихо говоря:

— Здравствуй, Сереженька.

Подошла Нина Тимофеевна, обняла Олю, давя слезами, стала целовать ее. Сережа шагнул к Ермилову. Они обнялись.

— Я уж боялся вы не успеете... — с трудом проговорил Ермилов.

— Мы телеграмму ночью получили, — быстро вполголоса ответил Сережа, поправляя очки и глядя в осунувшееся лицо Николая.

Черноглазая Машенька, не отпуская отцовской руки, с испуганным интересом разглядывала Сережу. Придерживая букет, он наклонился к ней, обнял за плечико:

— Здравствуй, Машенька. Ты не помнишь меня?

Девочка молчала, прижимаясь к отцу.

— Дядю Сережу помнишь? — проговорил Ермилов, глядя Машу по голове.

— Помню... — тихо ответила девочка.

Подошли Пискунов, Локтев, Виктор Степанович, Саша Алексеевский с Юлей. Оля и Сережа стали здороваться, молча пожимая протянутые руки. Сзади послышался слабый шум машины и в ворота медленно въехал белый автобус с сидящими внутри музыкантами. Подрулив к стоящим, он остановился, обе двери открылись и музыканты стали неторопливо выходить со своими инструментами.

Илья Федорович кивнул близстоящим мужчинам:

— Пойдемте...

Они подошли к автобусу сзади, вылезший из кабины шофер открыл багажную дверцу и стал помогать доставать обернутые марлей венки.

Их было три.

Подошла Юля, принялась снимать с венков марлю.

Музыканты тем временем стояли небольшой группой чуть поодаль, а их пожилой лысый руководитель, держа в опущенной руке новую серебристую трубу, о чем-то договаривался с Ильей Федоровичем, жестикулируя свободной рукой.

Оля подошла к Сереже, стала поправлять сбившийся на букете целлофан:

— Зачем они Машеньку-то взяли... совсем ребенок...

Сережа молча пожал плечами.

Вскоре венки были разобраны, автобус выехал с территории кладбища и стал за оградой у обочины.

Илья Федорович кивнул и шестеро мужчин с венками медленно тронулись вперед по идущей вглубь кладбища аллее. Толпа двинулась следом. Выстроившиеся сзади музыканты подняли инструменты и первые такты похоронного марша Шопена разнеслись по омытому дождем кладбищу. Оно было большим и старым, поросшим толстыми высокими липами и тополями, раскидистые кроны которых тихо шелестели над головами похоронной процессии.

Редкие капли падали сверху.

Одна из них скользнула по сережиной щеке. Он вытер щеку рукой. Оля со скорбным лицом, с опущенной головой шла ря-

дом с ним. Впереди двигалось семейство Ермилова. Софья Алексеевна держала его под правую руку, Машенька шла неотрывно рядом, обняв левую.

Катя с бабушкой шли чуть поотстав.

Аллея тянулась все дальше и дальше, кругом были сплошь могилы, — новые, старые, ухоженные и заброшенные, с крестами и гранитными постаментами, с оградами и без.

Сережа шел, изредка поглядывая на проплывающие справа от него кресты и надгробья с различными надписями, облепленные дождевыми каплями.

Звуки труб громко разносились в прохладном воздухе.

Слышались всхлипывания женщин.

Аллея повернула направо. Процессия миновала небольшой колумбарий и двинулась дальше.

Вскоре впереди между могил показались человеческие фигуры и холмик свежeverытой земли. Процессия подошла ближе, остановилась. Оркестр смолк.

Вокруг приготовленной ямы стояли шестеро могильщиков, одетые в грязные брезентовые куртки и штаны. Их лопаты, собранные вместе, стояли у соседней ограды.

Их бригадир — невысокий коренастый мужчина с загорелым морщинистым лицом подошел к Илье Федоровичу и вполголоса стал что-то говорить ему. Илья Федорович молча кивал.

Мужчины с венками нерешительно топтались на месте.

Илья Федорович попросил их посторониться, они отошли.

Бригадир вернулся к своим товарищам. Четверо из них прошли чуть в сторону и, подняв с земли за четыре ручки длинный деревянный ящик-футляр, понесли к яме.

Софья Алексеевна, обняв Ермилова, заплакала в голос.

Катя подошла к ним и тоже заплакала. Заплакала и Машенька. Ее тонкий голосок прерывался всхлипами.

Нина Тимофеевна, спрятав лицо в платок, тряслась от рыданий.

Срывающимся голосом Илья Федорович обратился к стоявшим:

— Прощайтесь, товарищи.

Толпа окружила Николая Федоровича.

Рыдания его дочерей, жены и других женщин слились воедино.

Софья Алексеевна рыдала на груди у Ермилова, повторяя судорожно:

— Коленька... Коля...

Сережа стал протискиваться через толпу к Ермилову. Плачущая Оля двигалась за ним.

Между тем, могильщики открыли деревянный футляр и стали вынимать из него карабины. Бригадир достал из кармана шесть остроносых патронов и раздал своим товарищам.

Могильщики стали заряжать карабины. Глуховатое кланье затворов смешалось с плачем и причитаниями толпы.

Ермилов с трудом обнимался со всеми, дочери и жена висели на нем. Сережа протиснулся к нему и поцеловал в мокрую от слез щеку.

— Нет... Коленька... нет... нет... — всхлипывала на груди у Ермилова Софья Алексеевна.

Илья Федорович пытался ее успокоить.

Губы его тряслись, он часто моргал.

Могильщики выстроились шеренгой метрах в четырех от ямы, держа карабины стволами вниз. Бригадир вопросительно смотрел на Илью Федоровича.

Тот обнял Ермилова за плечи:

— Пора, Коля...

— Нет! Нет, Коленька! Нет!! — закричала жена Ермилова, цепляясь за него.

Дочери рыдали навзрыд.

— Соня, Соня, — успокаивал Илья Федорович.

— Нет! Нет! Нет!! — закричала Ермилова.

Пискунов, Елизавета Петровна и Надя стали отрывать ее от мужа.

— Нет! Коленька!! Нет!!

— Соня... Соня... — держал ее за плечи Илья Федорович.

— Сонечка... Сонюша... — плакал Ермилов, целуя ее.

— Папа! Папочка! Папа! — рыдали дочери.

Елизавета Петровна взяла Машу на руки и прижала к себе. Девочка плакала и вырывалась, зовя отца.

Нина Тимофеевна прижала Катю к себе, трясясь всем своим грузным телом.

Сквозь нехотя расступившуюся толпу Ермилов пошатываясь пошел к яме. Он был в новом коричневом костюме.

— Отойдите, товарищи, — кивнул бригадир и толпа стала пятиться назад.

— Нет! Нет!! Коленька!! — кричала, вырываясь, Софья Алексеевна.

Женщины плакали.

Ермилов подошел к яме.

Бригадир показал ему на холмик земли с утрамбованным верхом, сложенный могильщиками у самого края ямы.

Топя новые ботинки в рыхлой земле, Ермилов взошел на холмик и опустился на колени — лицом к шеренге могильщиков, спиной к яме.

Бригадир, стоящий в шеренге крайним, дал команду.

Могильщики прицелились в Ермилова. Они были разного роста и вороненные стволы замерли на разной высоте.

Ссутулившись, Ермилов стоял на коленях, бессильно вытянув руки вдоль тела. Опущенная голова его заметно тряслась.

— Раз... — скомандовал бригадир и не очень дружный залп снес Ермилова с холмика, оглушив собравшихся.

Было слышно, как тело Николая Федоровича с глухим звуком упало на дно ямы. Голубоватый дым повис над холмиком.

Запахло пороховой гарью.

Могильщики защелкали затворами, вынимая гильзы.

В толпе по-прежнему слышался плач и причитания.

Сложив карабины в деревянный ящик, могильщики разобрали лопаты, подошли к яме.

— Родные, бросьте землицы, — обратился ко всем бригадир.

Первым медленно подошел Илья Федорович, зачерпнул горсть земли и бросил. Лицо его было в слезах.

Вслед за ним Пискунов и Надя подвели вслипывающую Софью Алексеевну, она непослушной, словно парализованной рукой взяла землю и бросила в яму.

Стали подходить все подряд — Нина Тимофеевна с Катей, Елизавета Петровна с Машенькой на руках, Лохов, Селезневы, Виктор Степанович, Козловские, Ситниковы, Галя Прохорова.

Подошли и Оля с Сережей.

Когда Сережа с края ямы бросил свою горсть, он успел увидеть ноги Ермилова.

Взявшись за лопаты, могильщики принялись умело сваливать землю в яму.

Поминки были в доме покойного.

За двумя сдвинутыми столами сидели человек двадцать.

Приподнявшись со своего места, Илья Федорович помолчал, глядя перед собой, потом заговорил:

— Друзья, мне трудно, очень трудно говорить... Я старше Коли на шесть лет и вот... никогда не думал, что мне придется хоронить его... мы росли вместе, семья была дружная, родители воспитывали нас, прямо скажем, по-спартански. Чтобы выросли, как отец говорил, настоящими мужчинами. И он не ошибся. Коля вырос настоящим бойцом, настоящим человеком. С большой буквы человеком... Здесь присутствуют родные и близкие, сослуживцы Коли, друзья по нелегкой профессии геофизика. Все мы знаем, что Коля всегда был честным, добрым человеком. В любых ситуациях на него можно было положиться... Но я хочу сказать об одной черте Коли, которую я, как брат, знаю лучше вас. Эта черта — откровенность и прямота. Он и мальчишкой был откровенным, честным во всем и потом, после, у него никогда не было недомолвок и лицемерия. Он этого терпеть не мог. Коля всем говорил в лицо то, что думал. И вот здесь сидят Колины дети — Катя и Маша. Это прекрасные, замечательные девочки. И они переняли от отца эту замечательную черту — честность... Я хочу, чтобы и вы, девочки, и ты, Соня, и все мы с вами сохранили о Коле самую светлую память. Вечная память тебе, дорогой мой брат...

Вторым, после небольшого перерыва, выступил Виктор Аристович Пискунов. Он сказал:

— Друзья. Сегодня у нас тяжелый день. Мы потеряли Колю. Потеря эта невосполнима и очень тяжела. Трудно поверить, что его больше нет с нами. Я знал Колю и колину семью почти двенадцать лет. Мы вместе ездили в экспедиции, вместе до последнего работали. Но для меня Коля был не просто сослуживцем. Он был настоящим и очень близким другом. Все мои личные и деловые планы, все мои радости и горести я смело доверял ему. А он, в свою очередь, доверял мне свои. И никогда ни в чем мы не отказывали друг другу. Всегда шли навстречу. Всегда старались помочь в трудную минуту. Как в песне поется: друг не тот, с кем распевают песни и не тот, с кем делят чашу на пиру. Так вот, нам с Колей пришлось не только петь песни и праздновать юбилей. Здесь за столом больше половины геофизиков. Все мы, товарищи, знаем что такое жизнь в геофизи-

ческих экспедициях. Мы с Колей объездили всю Сибирь. Трудностей было много. А были моменты, когда и просто была настоящая беда. Это когда наши друзья заплутались в буране. И вот в таких ситуациях проявился колин характер настоящего друга. Он не испугался, не дрогнул в тяжелых условиях, а первым пришел не помощь... Вообще, я хочу сказать, Коля жил всегда для других, заботился о других, а не о себе. Все мы благодарны ему за это. Все мы будем помнить его доброту, честность и душевность. Давайте помянем Колю...

Все подняли рюмки и бокалы и выпили.

Минут через десять выступил Сережа.

Приподнявшись со своего стула, он заговорил:

— Товарищи, мне говорить тяжело вдвойне. Потому что совсем недавно, два месяца назад, умер мой отец, большой друг Николая Федоровича, его сокурсник по институту. И Николай Федорович вместе с Софьей Алексеевной тогда прилетели к нам в Волгоград хоронить моего отца. Мы с Олей помним буквально каждое слово из того, что говорил Николай Федорович у гроба моего отца. Так, пожалуй, никто не сказал. Так просто и искренне. От всего сердца. Николай Федорович тогда вспомнил строчки любимого стихотворения: Уходят люди, их не вернуть, их светлые миры не возродить, и каждый раз мне хочется опять от этой невозвратности кричать... И вот теперь мы прощаемся с Николаем Федоровичем. Когда пришла телеграмма, никто из нас в это не поверил. А я... в общем... я до сих пор в это верю с трудом. Что Николая Федоровича больше нет с нами. Что мы не услышим больше его веселого голоса... Только теперь я до конца понял, каким человеком был Николай Федорович Ермилов. Илья Федорович только что назвал его человеком с большой буквы. Это очень верно. Николай Федорович действительно был человеком с большой буквы, настоящим человеком. Но для меня... для нас с Олей он был не просто настоящим человеком. Он был великим человеком. Дело в том... товарищи... в общем... я очень волнуюсь. Мне еще ни разу за мои двадцать восемь лет не пришлось так вот говорить... и тем более на поминках по Николаю Федоровичу. Многим наверно может показаться неуместным слово великий, но не подумайте, товарищи, что я сказал это лицемерно, или просто ради красного словца. Я говорю это от всего сердца еще раз: для нас с Олей Николай Федорович был и остается великим человеком... Ве-

ликим. Конечно, вроде бы это странно — как так, ведь Николай Федорович был обыкновенным геофизиком, всю жизнь работал как все и ничего сверхъестественного не сделал. Но это, товарищи, для тех, кто его не знал как следует. Нам с Олей он просто открыл новый мир...

Все дело в том, товарищи, что Оля... то есть, мы с Олей поженились девять лет назад, когда мне было девятнадцать, а ей восемнадцать. Родители наши отговаривали нас, повторяли, что еще рано, что мы не знаем жизни. Мы ее конечно не знали: Но зато любили друг друга. И в своем чувстве не ошиблись... Но скажу вам правду — если наша любовь была прекрасной, то наша семейная жизнь началась неудачно. Дело в том, что я от рождения имел недоразвитый половой член. Он был очень маленький и в состоянии эрекции его длина была девять сантиметров. И был тонкий. Ну и естественно наша половая жизнь складывалась неудачно. Я даже не мог как следует дефлорировать мою супругу. А Оля очень болезненно это переносила. Тем более, что она никогда не испытывала со мной чувства оргазма за эти месяцы. Я тоже очень сильно мучился и в конце концов сам перестал испытывать чувство оргазма и перестал кончать. То есть эякуляции не было. На этой почве начались ссоры, раздоры. Оля несколько раз хотела уйти от меня, говорила о разводе... Мне сейчас горько это вспоминать. И неизвестно как бы это все кончилось, если бы я не встретил Николая Федоровича. Тогда он приехал к моему отцу погостить, после экспедиции. Вот. Они тогда часто встречались. Отец ездил в Москву, Николай Федорович — к нам... И вот, я помню, мы поужинали все вместе, а потом Оля пошла спать, отец с мамой тоже пошли к себе, а Николай Федорович говорит мне: пошли на балкон, покурим. И мы вышли на балкон. А он мне говорит: плохо, значит у вас дела с Олей? А я говорю — а как вы догадались? А он говорит — во-первых, это видно сразу, а потом ему мой отец говорил. Ну и я сразу как-то абсолютно не стесняясь все ему рассказал. И потом удивился — как же так, я ведь об этом никому никогда и слова не мог сказать. А тут — все сразу. Николай Федорович тогда задумался, покурил, а потом говорит: вот что, иди-ка спать, а утром мы с тобой потолкуем. И, говорит, запомни — если есть желание и воля — перед человеком все отступит, любые трудности. Я пошел спать. А утром, когда все разъехались, мы с Николаем Федоровичем пили на

кухне кофе. И он мне говорит: Знаешь, Сережа, что такое воля? Я говорю — слышал. А он говорит — нет, ты не знаешь. Воля, говорит, это то, на чем весь наш мир держится. И каждый человек держится только на своей воле. И если человек чего-то по-настоящему захочет — все сбудется. И мне говорит: вот ты, Сережа, хочешь стать мужчиной? Я говорю — да. А он говорит — очень? Я говорю — очень. Тогда он посмотрел на меня так пристально и и достает из кармана бумажку. Вот... вот эту... — Сережа вынул из нагрудного кармана костюма маленький, похожий на визитную карточку бумажный прямоугольник. — Вот. — И дает мне. А на бумажке с одной стороны написано вот, смотрите... вот здесь... ПРИШМОТАТЬ ЧУВАКА... вот, а с другой... ПРОСИФОНИТЬ ВЕРЗОХУ... И я его спрашиваю, а что это? А он говорит, а это два условия, которые ты должен выполнить. Первое, это ты должен повесить своего ровесника. А второе — это я должен с тобой совершить половой акт через твое заднепроходное отверстие. Вот. Только после этого ты станешь мужчиной. — А я тогда учился в Политехническом институте у себя в Волгограде. И вот, товарищи, после этого разговора я как бы только об этом и думал. Но никому ничего не говорил. А через неделю я подговорил одного своего сокурсника — Витю Сотникова поехать со мной на озеро. Взяли мы все что нужно и поехали. А вечером доехали, развели костер, поставили палатку. Выпили вина. А надо сказать, у Вити была неразделенка, то есть одна девушка, которую он любил, гуляла с другим парнем. И он мне часто об этом говорил. И вот, когда мы спать легли, я подождал, пока он заснет, вылез, достал веревку, которую заранее приготовил, тихо так к нему подобрался, навалился сзади и веревкой задушил. А после веревку пристроил на сук, его подвесил, а возле ног дубину бросил, будто он ее к дереву прислонил, стоял на ней, а потом прыгнул и удавился. Вот. А потом утром рано, все бросив, побежал на станцию в милицию, рассказал, что Витя повесился. Ну и конечно поднялся шум страшный, началось дело, я рассказал, что он все время говорил про Олю, то есть про его девушку, а накануне даже прослезился. У меня дома, да и в институте страшный был тогда переполох. Просто страшный. Дома все переживали, потому что Витьку знали с детства. Эта Оля взяла академку и уехала к тетке в Ереван. А Николай Федорович жил у нас. И каждый раз, когда мы оставались с ним один на один, показывал мне боль-

шой палец и говорил — молодчина! Почти — мужчина... Да. Так и говорил: молодчина, почти мужчина. Вот. А потом накануне своего отъезда, он попросил меня прокатить его напоследок на отцовской моторке по Волге. Ну и когда мы за плесы отплыли, он говорит — глуши мотор. Я заглушил. Он говорит, спусти штаны, наклонись. Я спустил и наклонился. Он мне помазал вазелином анальное отверстие, а потом совершил со мной половой акт. Мне было очень больно. А когда кончил, говорит: молодчина, теперь — мужчина! Теперь у вас все будет хорошо с Олей. И вечером уехал. А у нас с Олей действительно с тех пор все стало хорошо, все наладилось. То есть не в смысле секса и всего там, а просто... ну, все, по-настоящему... Вот. И вот, товарищи, прошло уже восемь лет, а мы вместе. Но главное — мой член после этого остался таким же, так что дело не в этом, вот посмотрите...

Сережа положил на стол бумажку, которую во время рассказа держал в руках, быстро расстегнул брюки, приспустил трусы и проподняв рубашку, показал всем обнаженный пах, поросший редкими белыми волосами. Над крохотными яичками торчал его напрягшийся белый девятисантиметровый член, толщиной с палец. Над овальной розовой головке была вытатуирована буква Е.

Среди всеобщего молчания Сережа дрожащей рукой поднял свою рюмку с водкой и проговорил:

— Светлая память Вам, Николай Федорович Ермилов...

А ИМ КАЗАЛОСЬ: В МОСКВУ! В МОСКВУ!

Зачастую писатель всю сумму своих наблюдений, идей, постулатов сводит к какой-нибудь простенькой житейской сценке. Скажем, сидят в метро рядышком папа, мама и дитя -малютка. Дитя вытворяет свои милые широкоизвестные штучки. Мать улыбается. Отец поглядывает на ребеночка, на мать и тоже улыбается. И все вокруг улыбаются.

Зачастую и сам автор с суммой своих наблюдений, идей, постулатов сводим к такой же простенькой жизненной сценке. Скажем, в том же метро, напротив вышеприведенной картинки семейного счастья, сидит пара. Жена и говорит мужу: "Вот, гляди. Как люди живут, с ребенком в гости ездят, веселятся". Муж молча соглашается. Но внутри-то себя он знает, что придут они домой, ребенок заплачет, мать начнет выговаривать отцу, что он чего-то там такое вчера-позавчера не сделал, или сделал, он в ответ что-то ляпнет, она крикнет, он выругается, она заплачет, он хлопнет дверью и уйдет к друзьям-собутельникам, либо еще куда. (Даже если и не так, тогда все равно так). И не то, чтобы картинка в метро была ложной, поддельной: но и не то, чтобы домашняя сцена была неистинной...

Собственно, до чего же мы дошли в своих рассуждениях? А мы дошли до Чехова. Вот, именно. Говоря о Сорокине, я не могу не коснуться Чехова Антона Павловича.

Именно в его творчестве вся эта пленка милых, деликатных и трогательных отношений пытается накрыть, затянуть жуткий подкожный хаос (с точки зрения – жуткий и разрушительный), стремящийся вылезть наружу и дыхнуть, смыть своим диким дыханием тонкую, смирительную пленку культуры. Надо сказать, что Чехов, будучи человеком культурным, человеком культуры, оберегая и лелея ее, сам настороженным, косящим, почти сладострастным взглядом (как за кромкой женского чулка из-под задравшейся юбки) следит за отгибающимся краем этой пленки, предчувствует его, тянется к нему, но в последний момент начинает судорожно натягивать эту

пленку, насколько позволяют его силы и размах руки. Сам себя он полностью полагает в этой пленке культуры, почти с пафосом, с гиперусилиями ("в человеке все должно быть прекрасно...") В пьесах же его, где хаос лезет уже во все дырки, все заполняя и удушая героев: длинные страстно-дидактические тирады гибнущих суть выход того же самого гиперусилия. И это было бы прекрасно, коли не было бы так беспомощно ("надо работать, работать, работать!", "в Москву, в Москву!").

Явный интерес в последнее время к чеховской драматургии говорит о несомненном сходстве, определенном совпадении его проблематики с нашей. Но столь же, если не больше, разительно и отличие. Посему речь идет и о Чехове, да все-таки не о Чехове, а о Сорокине, даже таким, неупоминательным способом.

Не задаваясь культурно-историческими и художественно-ценностными параметрами подобных культурных пленок, но лишь фактом явления их перед взором художника, заметим, что пленка, с которой имеет дело Сорокин, весьма отличается от Чеховской не только конкретно-историческими реалиями, но принципиально – своей интенцией. То есть, она уже не пытается покрыть собою хаос, но приблизилась к человеку и пытается обволочь его, даже больше – пытается стать им самим, его образом мышления и чувствования. Приблизившись к человеку, она тем самым приблизила к нему вплотную и хаос.

Подобной картине (как Чеховской, так и Сорокинской) противостоит понятие о слоистости мира, но это область эзотерического сознания. В сфере же культуры мы всегда имеем дело с верхней культурной пленкой и всем остальным, под ней лежащим. При катаклизмах и переворотах (не обязательно социальных) все это низлежащее всплывает наверх и напитывает как кровью, так и витальной силой ослабшее человеческое бытие. Но следом уже культурно-пленочные поверхностные усилия становятся конструктивными и жизненно осмысленными.

И если Чехов полностью полагает себя в культуре, если есть способ художественного бытования в энергитийном хаосе (Достоевский, "родимый хаос" Тютчева), то Сорокин избирает позицию третьего наблюдающего, позицию осознания и созерцания пленки и хаоса как совместно живущих, позицию свободы; позицию, очевидно, занимающую срединное место в последовательности между двумя вышеприведенными.

В разные времена искусство полагало основной задачей разрешение различных отношений человека с культурой и хаосом. Упор писателя на каком-либо одном из них не есть отрицание других, но свидетельство (помимо его собственного авторского кредо) о данном моменте истории, о его основном пафосе.

В наше время попытки (и причем многочисленные) создать некий альтернативный единый способ и язык описания (или использовать какой-либо из старых), чтобы накрыть эту действительность, оборачиваются воспроизведением немыслимой жесткости доминирующего языка, все неизбежно искривляется по силовым линиям, заданным доминирующим языком, и все новые ложатся еще одним слоем на вышеназванную пленку.

Аппеляция же к неким общим, неясно-артикулируемым глубинным пластам человеческого бытия оборачивается простым скольжением по поверхности этой пленки. Повторяю, что я говорю о нашем конкретном времени и о сознании культурном, но не религиозном или эзотерическом.

Посему мне представляется, что позиция Сорокина (как и всего направления в искусстве, к которому он тяготеет) – понимание свободы или возможности свободы как основного пафоса культуры сего момента – является истинно, если не единственно, гуманистической. И неложность этого откровения навсегда останется и будет прочитываться, как, собственно, было со всеми произведениями искусства, которые остаются живыми для любых других эпох, идей, устремлений. Именно это и отличает художника от эпилгона, пытающегося воспроизвести ситуацию истины предыдущих времен, в то время как живая кровь современности бьет уже в другом месте.

Что же касается конкретного обличья, выхода на люди – подобная художественная концепция выявляет в их онтологическом значении такие элементы бытия как шок, граница, скачок, в отличие от самопроявления живой истины или живой вещи (Достоевский), или пространства жизни и описания (Чехов).

Живость и искренность читательского переживания этих самых швов, границ и скачков и служит свидетельством истинности авторской позиции и несомненной его одаренности.

Д. Пригов

ТЕКСТ КАК НАРКОТИК

Владимир Сорокин отвечает на вопросы журналиста Татьяны Рассказовой

— Владимир, не так давно ваше имя официально внесено в "списки" создателей "другой" прозы. Вы всегда писали в альтернативном традиционной советской литературе ключе или были времена, когда вы мучили себя "по чужому подобию"?

— Ну, это уже достаточно старая история. Я с самого начала считал себя художником, а собственно прозой попробовал заниматься лишь с четырнадцати лет, и очень кратковременно. Мне тогда показалось, что все получается как-то слишком легко. Это было неинтересно.

В середине 70-х годов я попал в среду московского художественного андерграунда, в круг концептуалистов — Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Андрея Монастырского. Тогда был пик соцарта, и на меня сильное впечатление произвели работы Булатова, во многом они изменили мое отношение к эстетике вообще. До этого я воспринимал исторический и культурный процессы оборванными в 20-е годы и постоянно жил прошлым — футуристами, дадаистами, обэриутами. А тут вдруг увидел, что наш чудовищный советский мир имеет собственную неповторимую эстетику, которую очень интересно разрабатывать, которая живет по своим законам и абсолютно равноправна в цепочке культурного процесса. Парадоксально, но именно художники подтолкнули меня и к занятиям прозой.

Сказать, что я находился под влиянием какого-нибудь писателя, не могу. Скорее, это был синтез из Кафки, Набокова и Орвелла. Но это продолжалось недолго, вскоре я стал писать в откровенно соцартовской манере. Скажем, первый сборник рассказов назывался "Первый субботник", он был построен как бы по канонам официальной советской литературы среднего

уровня. Как если бы он вышел в каком-нибудь калужском издательстве.

— А на самом деле где он вышел?

— Пока нигде. Он содержал типично советскую палитру тем — от производственных и райкомовских будней до любовной. Меня привлекла возможность манипуляции с этим жестким каноническим стилем, с порожденными им персонажами.

— Абсурдизм, модернизм, постструктурализм, поставангард — по-моему, публика, научившись не моргнув заглатывать эти термины, трассирующие вдоль и поперек нашей интеллектуальной целины, с трудом улавливает между ними различия. Не могли бы вы, как "типичный представитель" концептуальной литературы, объяснить жаждающей духовного просвящения общественности (заметьте, читателям ГАЗЕТЫ) — что это такое?

— По-моему, хорошо сказал один из основателей этого направления в изобретательном искусстве Кошут: в концептуализме актуальна не вещь, а отношение к этой вещи. Концептуализм — это дистанцированное отношение и к произведению, и к культуре в целом. То есть чем отличается "нормальный" писатель от концептуалиста? Тем, что он имеет свой литературный стиль, по которому узнается читателем — как узнается Набоков или Кафка. У меня же его — раз навсегда избранного — нет. Я лишь использую различные стили и литературные приемы, оставаясь вне их. Мой стиль состоит в использовании той или иной манеры письма. Тот же "Первый субботник" принципиально отличается от недавнего романа "Роман", который написан квазитургеневским языком и не содержит никаких советских реалий.

Но вряд ли имеет смысл говорить обо мне как о концептуалисте, потому что еще в начале 80-х годов я плавно со всеми перетек через "new wave" в постмодернизм. Сегодня я знаю лишь одного ярко выраженного концептуалиста — это ленинградский прозаик Аркадий Бартов. Он пока мало известен, но, думаю, окажется приятным открытием.

— Поэт Лев Рубинштейн полагает, что язык — это единственная драма, занимающая вас как писателя, что язык ваших текстов отражает "фанерную словесность" тоталитарного общества и в какой-то момент "сходит с ума", становясь вроде бы неадекватным, а на самом деле — некоей адекватностью нового порядка. Означает ли это, что социум для вас вторичен, а общество интересует лишь как носитель и убийца языка?

— Абсолютно верно. У меня нет общественных интересов. Мне все равно — застой или перестройка, тоталитаризм или демократия. Когда я написал "Очередь" и ее перевели на Западе, то в интервью меня часто спрашивали о проблеме очередей в Союзе. А меня интересовала очередь не как социалистический феномен, а как носитель специфической речевой практики, как внелитературный полифонический монстр. Все мои книги — это отношение только с текстом, с различными речевыми пластами, начиная от высоких, литературных и кончая бюрократическими или нецензурными. Когда мне говорят об этической стороне дела: мол, как можно воспроизводить, скажем, элементы порно- или жесткой литературы, то мне непонятен такой вопрос: ведь все это лишь буквы на бумаге.

Но почему так притягивает сам текст? Фуко сказал, что любой текст тоталитарен, так как претендует на власть над человеком. Текст — очень мощное оружие. Он гипнотизирует, а иногда — просто парализует.

— Уж не посягаете ли вы через слово на свободу воли своего читателя?

— Надо сказать, что читателя как такового я никогда не учитываю. Может быть, поэтому меня так мало здесь печатают. Меня завораживал всегда только текст. Я до сих пор не понимаю, почему то, чем я занимаюсь, нравится кому-то еще. Это моя личная проблема, проблема моей психики, я ее решаю только наедине с бумагой.

Но мы говорили о языке. Концептуализм дал мне возможность отстраненно взглянуть на литературу. Для меня нет принципиальной разницы между Джойсом и Шевцовым, между Набоковым и каким-нибудь жэковским объявлением. Я могу

найти очарование в любом тексте. Наиболее привлекательными мне кажутся области, еще не втянутые в литературу, некультуренные: бюрократический, канцелярский язык, язык душевнобольных — их письма. Я с большим интересом читаю литературу советского периода — от идеологической, такой, как "Краткий курс истории ВКП(б)", до художественной, где послевоенный сталинский роман представлен, надо сказать, просто потрясающе. Мы еще не осознали соцреализм как автономное эстетическое направление, но, думаю, придет время, и все это будет переварено культурой.

— *Это означает, что вы попытаетесь писать в таком стиле?*

— Уже писал. Но там такое эльдорадо, такие материки, которые не обойдешь за всю жизнь. Помимо хорошо известных производственного, деревенского или семейного романов есть, например, научная фантастика. Я читаю сейчас "Семь цветов радуги" Немцова, роман 47-го года, о том, как группа комсомольцев-изобретателей поехала в глухую деревню. Они там вырыли гигантские теплицы и, используя энергию земли, стали разводить какие-то невиданные фрукты. Это просто сногшибательное произведение, чрезвычайно оригинальное, которое доставляет массу удовольствия. (Кстати, у меня давно возникла идея написать научно-фантастический роман).

Однако когда я пытался разговаривать с "традиционными" литераторами, литературными критиками о соцреализме, то они высказывали лишь этическое отношение к этой традиции, некоторые безответственно утверждали, что соцреализм не существовал вообще, а была и есть лишь хорошая и плохая литература. Это свидетельствует о том, что прошло еще очень мало времени, и у нашей нумы — интеллектуальной среды — нет пока отстраненного, чисто эстетического взгляда на эту традицию — ну как на обэриутовскую, например. Сейчас чрезвычайно мало людей, которые это понимают.

— *Вы говорили о своем безразличии к социуму. Означает ли это, что вам никогда не доводилось испытывать так называемые гражданские чувства, желание по какому-нибудь поводу слиться с массой — словом, чего-нибудь в этом роде?*

— Знаете, меня толпа всегда пугала. Когда в начале 80-х мы с Вик.Ерофеевым и Приговым организовали странную группу "ЕПС", то иногда приходилось выступать на публике. Я при этом всегда чувствовал неловкость. Меня не привлекают масса, большое скопление людей, общественные страсти и течения. Возможно, это идет от долгого пребывания "в подполье", когда мы жили маленькой группкой и общество воспринималось ОТСТРАНЕННО, как изображение на экране. Для меня и сегодня ничего не изменилось. Кстати, на Западе я испытываю точно такую же онтологическую отдаленность от массы. Она вызывает лишь беспокойство и желание уйти в частную жизнь. Видимо, потому "общественная жизнь" меня не интересует, что она не в состоянии изменить человеческую природу. А на меньшее я не согласен.

— *По-моему, человеческую природу не способно изменить ничто.*

— Ну да. Поэтому я абсолютно аполитичен и мне в принципе все равно, кто стоит у власти и какие издает законы. Мои интересы лежат в других областях.

— *Политика политикой, эстетика эстетикой, но когда читаешь ваши вещи, складывается впечатление, что у вас была сверхзадача, быть может, неосознанная, — выплюнуть все то, что извращенному обществу удалось в вас вколотить. Следующим логическим шагом, можно предположить, станет отъезд на Запад, как поступили многие из ваших литературных сверстников?*

— Да нет, на самом деле все сложнее. Мое отношение к бытию вообще, мягко говоря, сдержанное. Я очень хорошо понимаю Хайдеггера, который посвятил много страниц разработке проблемы заброшенности человека в этот мир форм. Каждое утро, открывая глаза, я испытываю крайнее удивление от того, что втиснут в это тело и опять просыпаюсь в этом мире, которое постепенно перерастает в состояние удрученности. В детстве, когда мы жили в Быкове под Москвой, отец года в три повел меня на аэродром, и я увидел какие-то ревушие чудовища, они притягивали и ужасали одновременно. И соответствующее от-

ношение к миру качественно не изменилось с годами. Оно не связано конкретно с этим государством, хотя, конечно же, вырасти в таком репрессивном обществе — значило усугубить это состояние. Это проблема психики, и решить ее для меня возможно лишь при помощи письма. А уезжая на Запад, мы пересекаем лишь географические границы, но не онтологические. Нашу психику мы вывозим с собой, как рюкзак с камнями. Да и разница не так уж велика: и здесь, и там — онкологическая клиника. Только здесь стоит человеку появиться на свет, как ему объявляют: "Ты умрешь". Понятно, что и там ему не избежать аналогичной участи, но его всячески отвлекают от этой неотвратимой истины мягкой жизнью, которая чисто внешне исключает саму возможность смерти.

— У героини вашего романа "Тридцатая любовь Марины" много общего с ерофеевской "Русской красавицей" — и судьба, и род занятий, и лесбийские наклонности. Если ерофеевская Ирина одержима метафизической идеей спасения России, то ваша Марина тоже как будто пытается ее спасти, тусуясь с диссидентами, по-сестрински снимая их сексуальные затруднения. Финалы романов отличаются лишь на первый взгляд: Ирина кончает счеты с жизнью, Марина, впервые испытывает оргазм с мужчиной (парторгом завода, под звучащий по радио гимн Советского Союза), сжигает диссидентские мосты и идет трудиться на упомянутое предприятие, где благополучно обезличивается (то есть тоже погибает). Боюсь, простой советский "чайник" (если когда-нибудь прочитает роман) решит, что автор убежден, будто диссидентское движение благодаря не столько социальной, сколько сексуальной невыраженности. Вас это не смущает?

— Наоборот, радует такая постановка вопроса. На диссидентство, как и на всех нас, ошибочно смотреть лишь с социально-политической точки зрения. Это большая тема. Но я решал не проблему диссидентов. "Марина" сделана в жанре классического русского романа о спасении героя. В данном случае — о спасении от индивидуации. Это нечто вроде вывернутого наизнанку "Воскресения" Толстого. В тоталитарном обществе индивидуализация — страшная помеха. Трагедия диссидентов была, конечно, в том, что они — яркие индивидуальности,

отделенные от коммунального советского тела. Поэтому в финале Марина "освобождается" от индивидуальности, вливается в безличный "коллектив". Чудовищное — но спасение.

Когда я познакомился с Виктором Ерофеевым, то не знал о существовании "Русской красавицы", как и он о "Марине". Их сходство, по-моему, говорит о том, что герой нашего времени может быть сегодня угадан именно в женщине, в женском типе.

— *Вас не огорчает признание "там" и отсутствие широкой известности "здесь"?*

— Наоборот. Я уже говорил, что испытываю неловкость и недоумение, когда мои вещи вызывают у кого-то интерес. Я-то их воспринимаю только в рамках своих психосоматических проблем. А на Западе переводом занимаются в основном слависты, которые исследуют их как специфическое письмо, некий материал. Это мне понятно, это меня устраивает.

— *То есть здесь вы никому не предлагали свои рукописи, никто их не "заворачивал" с какой-нибудь замечательной формулировкой?*

— Никогда. Но это вовсе не значит, что я отказываюсь их публиковать. Единственное условие — я против купюр.

— *Если вас начнут здесь широко печатать, вы не боитесь стать некоей литературной "эмблемой", превратиться в литературный миф вроде Айтматова или Евтушенко? Это у нас быстро происходит, если попасть в струю.*

— Думаю, мне это не грозит. Тот тип литературы, к которому я принадлежу, вызовет у большинства неприятие.

— *Но при хорошо поставленной рекламе ...*

— Не вижу смысла. Такие фигуры, как Евтушенко или Айтматов, имеют общественные интересы, отчасти для них литература — повод для политической деятельности, для "лечения общественных язв". Отсюда — доступный массам язык. Они пишут для народа, а я — для себя.

— Как вы относитесь к литературной критике? По-вашему, нормально, когда вас представляют читателю в образе "бледного ангела", в коем "сочетаются овидиев присноотрок и Дракула, тот кинематографический красавец Дракула с чуть вибрирующим зрачком"?

— Пожалуй, перебор... О литературной критике могу лишь сказать, что она традиционно, как это всегда было в России, отстает от литературы. Видимо, критикам надо стремиться по-дальше "отступать" от предмета описания в другие жанры. Например, многое из того, что творится с театральной традицией, как-то виднее моим друзьям-художникам. Многие литераторы достаточно чувствуют творческую ситуацию в изобразительном искусстве или в кино. Дистанцированность и выдвижение в другие области — это очень полезно. А наша литературная критика единственно куда дрейфовала — это в публицистику и социологию. И так тянется уже больше века, что не может не вызвать сожаления.

— От чего в литературе вас тошнит?

— Иногда от текста вообще. Особенно, когда пишешь. Поэтому я рад, что профессия у меня, в общем, не литературная — художник-график. Это помогает как-то переключаться, потому что иногда начинает вызывать тошноту любой текст. Поэтому я читаю очень избирательно.

— Существуют для вас границы творческой свободы?

— Это чисто техническая проблема, а ни в коей мере не нравственная. Все, что связано с текстом, с текстуальностью, достойно быть литературой.

содержание

Памятник	5
Деловое предложение	11
Соревнование	16
Дорожное происшествие	20
Любовь	37
Открытие сезона	40
Возможности	48
Сергей Андреевич	49
Кисет	60
Проездом	70
Прощание	76
Желудевая падь	79
Свободный урок	82
Геологи	92
Ночные гости	96
Первый субботник	101
Поминальное слово	106

Дмитрий Пригов.

А ИМ КАЗАЛОСЬ: В МОСКВУ! В МОСКВУ! 116

ТЕКСТ КАК НАРКОТИК 119

Литературно-художественное издание

В.В. Сорокин

СБОРНИК РАССКАЗОВ

Оформление автора

Редактор Н.Перова

Корректоры Г.Кавуновская, Е.Лидина

Технический редактор И.Борисычева

Н / К

Подписано в печать с готовых диапозитивов 17.08.91.

Формат 84x108 1/32. Бумага книжно-журнальная.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,08. Усл. кр.-отт. 10,29.

Тираж 25 000 экз. Заказ 1336. Цена договорная.

Коммерческое издательство РУССЛИТ, 121248, Москва,
Кутузовский пр. 1.

"Сорокин, как ни странно, продолжает давнюю традицию русского абсурдизма, представленную, прежде всего Обериутами, которые противопоставляли дореволюционные клише Новоречи молодого пролетарского государства. Изгнанный из официальной литературы, абсурд как литературное течение продолжал жить в русской литературе. Сорокин отличается от Обериутов своим отношением к читателю. Его предшественники все-таки оставались идеалистами-интеллектуалами, воспитателями масс. Подмигивая и подталкивая читателя они старались незаметно внушить ему надежду на политические перемены. В прозе Сорокина это отношение к читателю начисто отсутствует.

Автор не вмешивается в существующий порядок вещей, но его сочувствие и участие чувствуется в той тщательности, с которой он регистрирует все особенности речи персонажей, невежественных, беспомощных, потерявших надежду, претенциозных, униженных и оскробленных. Аполитичность авторского отношения к своим персонажам не типична для русских авторов. Гоголевские чудовища в десять раз отвратительнее, но за их уродливыми образами мы различаем тень самого Гоголя, закрывающего лицо дрожащими руками от отчаяния и сочувствия. В прозе Сорокина именно читатель, а не автор, впадает в отчаяние, ужасается, страдает от жалости."

Зиновий Зиник

Ридерз Интернейшил, Англия